

## Военный дневник Лены Карповой



### Предисловие для внучки

Дорогая внученька, я очень хочу, чтобы ты это прочла. До конца. Потому что это правда — от начала и до конца. Так было. Такими мы были. Мы любили Родину, и за неё мы были готовы отдать жизнь. Мальчишек — моих одноклассников — домой с войны вернулось всего три процента. Не потому, что они не любили жить или не хотели жить. Просто жизнь любой ценой нельзя называть человеческой жизнью. Многие из нас — тогда я была такая же юная, как ты, — пошли на фронт защищать Родину, а это значило защищать всё, что мы имели: свободу, честь — во всех смыслах этого слова, достоинство, нашу культуру и наш язык. Нашу жизнь. Чтобы те, кто пришли грабить и убивать нас, не жили на этой земле. Чтобы рождались дети. Чтобы когда-то потом случилось радостное и ничем не омрачённое событие — родилась ты. И чтобы тот необъятный ужас, который называется коротким словом «война», был бы тебе известен только по книгам, фильмам и этим строкам.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Добрым пожеланиям не суждено было сбыться. Девять раз теперь уже внучке, тоже Елене Васильевне, пришлось бывать в разных «горячих точках». Как и бабушка, Лена выбрала профессию медика. И мужа своего она встретила также в армии, а был он артиллеристом, как и её дед. Прошло уже много лет, но до сих пор ищут её те, кому она спасла жизнь. Так случилось, что и вторая внучка — Лиза — выбрала для себя профессию медика. Обычно во время войны и после неё все люди понимают счастье одинаково: чтобы не было войны, и все были живы. И только в дни мира, что такое счастье — каждый начинает понимать по-своему. И всё-таки главное — это когда все живы.  
19 мая 2010 года автора этого дневника не стало.



У моего дневника... (если так можно назвать отрывочные мысли и наблюдения, записанные в то время, когда войсковая часть выводилась из боя на переформировку; писалось это на клочках бумаги, сшитых нитками, которые мы добывали из тесёмок от немецких противогазов. Вести дневники категорически запрещалось, и я очень рисковала, делая это, но мне так хотелось хоть что-то запечатлеть, и я делала это украдкой...)

...так вот, у этих записок трудная солдатская судьба. Часть эти записей попала к немцам в сорок первом году под Москвой, часть была зарыта в землю в сорок втором во время отступления, часть в сорок третьем году во время освобождения Днепропетровска при переправе через Днепр вымокла в воде, часть испортилась на жаре в Белоруссии — находясь в вещмешке вместе с трофейными немецкими светильниками (они были заполнены каким-то составом вроде воска), так вот, этот воск или жир растаял и залил все эти записки; потом, с большим трудом разбирая текст, мне пришлось всё переписывать в тетради.

**Бой есть самое тяжёлое испытание моральных,  
физических качеств и выдержки бойца.  
БУП-42<sup>2</sup>**

## **ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ**

Решила всё-таки кое-что записывать. 15 июля 1941 года для меня началась новая жизнь. Ночью нас подняли по тревоге, и в 4 утра мы выехали из Новочеркасска на фронт. Никто нас не провожает, никто не знает, что мы уезжаем. Я выехала не совсем обычно. Ни мама, ни папа ничего не знают. Они думают, что я лечу зубы. На первой станции написала открытку — сообщила, что еду на фронт, что иначе поступить не могла, просила простить меня и не волноваться. Долго я думала над своим поступком. Несколько дней тому назад мы всю ночь просидели с Аней. Она мне пыталась доказать, что я совершаю глупость, что незачем умирать раньше времени, что мы ещё слишком молоды и должны учиться. Она считала, что если нужно будет — нас позовут. А я так не считала. Да, никому не хочется умирать на семнадцатом году жизни, только в этом она права. Ещё две недели тому назад была мирная, чудесная жизнь, казавшаяся теперь сказкой. Не менее сказочное будущее открывалось перед нами. Я послала запрос в Николаевский кораблестроительный институт. Мне только что прислали программу вступительных экзаменов и приглашение приезжать к ним после окончания 10 класса. Я мечтала строить корабли — непременно военные. На этот раз папа не возражал, он был категорически против мореходки, куда мы поступали вместе с Таней Орёл.

И вот одно страшное слово — война — разрушило всё. В голову приходят слова, складывающиеся в рифму.

Мы слово страшное услышали — война!!!  
Услышали, что города пылают,  
Что их стервятники со свастикой бомбят  
И пограничники, не сдавшись, умирают.  
Ты можешь за чужой спиной сидеть,  
Когда над Родиной твоей нависла смерть?

Я не могу, не имею права жить спокойно, учиться в то время, когда по нашей земле кровь льётся рекой. Учиться никогда не поздно, но сейчас думать об этом — позорно. Интересы Родины — это мои интересы. Я не могу отделить себя от тех, кто кровью своей и жизнью защищает её, сидеть за чужой спиной, когда стоит вопрос: быть или не быть? 23 июня я повела

---

<sup>2</sup> БУП – Боевой устав пехоты

девчонок в военкомат, но к военкому мы не попали. К военкомату вообще подойти невозможно: тысячи людей толкаются, кричат, требуют, чтобы их немедленно отправили на фронт, но никто не обращает внимания на них, пропускают только с повестками. Весь день мы осаждали военкомат, и к вечеру всё же удалось пробиться — влезли в окно и подали заявление с требованием: немедленно отправить нас на фронт. Мы написали, что имеем звание парашютистов, ворошиловских стрелков, можем оказывать первую медицинскую помощь раненым. В общем, кем угодно, только бы на фронт.



Через несколько дней девчонки получили повестки и уже ждут отправки на фронт. А мне в военкомате отказали, сказали, что ещё слишком молода. Мы решили действовать через политрука той части, куда попали девочки (это ПЭП 12 — полевой эвакуопункт). Втроём стали его упрашивать, но он не соглашался, говорил: «Куда ты поедешь, Чижик?<sup>3</sup> Ты же плакать будешь там!»

А я ревела уже здесь оттого, что не брали меня. Целый час мы просили, убеждали, плакали и, наконец, он сдался, и я написала заявление в действующую армию и была от счастья на седьмом небе.

Мечта моя сбылась, я ведь и в мирное время мечтала служить в армии. Куда только не писала и в Киевское училище связи, и в другие училища и, наконец, маршалу Тимошенко, пока не получила от него вразумительный ответ — женщины в настоящее время на службу в кадры Красной Армии и военные училища не принимаются. Из нашего класса Олюшка Сосницкая, из 10 Ира Шашкина, остальных девчонок я не знаю, за исключением Таи Куприяновой. Почти все плачут, а я пока нет, ведь нас никто не принуждает, едем добровольно.

Кто-то запел:

Дан приказ ему на запад,  
Ей в другую сторону,  
Уходили комсомольцы  
Защищать свою страну.

---

<sup>3</sup> Чижиком в довоенном фильме «Фронтовые подруги» звали одну из героинь.



Эшелон наш мчится на фронт, быстро мелькают станции и почти на каждой станции — толпы людей. В вагон к нам бросают цветы. Мы проехали уже много городов — Воронеж, Курск, Брянск и др. Навстречу идёт очень много эшелонов с эвакуированными из Житомира, Киева и других городов. С заводским оборудованием, со всем, что удалось спасти от немцев. Эвакуированные почти все евреи, и среди них очень много взрослых ребят, намного старше нас. Как им не стыдно? На кого же они надеются?

В Брянске была первая воздушная тревога. Прилетел один немецкий самолёт — разведчик с красными звёздами. Он почти на бреющем шёл над нашими эшелонами, но его посадили два наших ястребка. Брянск — громадная станция, и здесь уже чувствуется дыхание войны: вся станция забита воинскими эшелонами. На открытых платформах танки, пушки, снаряды и т.д. Солдаты — совсем молодые мальчишки. Все платформы тщательно замаскированы зеленью. Ребята с соседнего эшелона рассказали, что здесь сегодня поймали немецкого шпиона с рацией. Говорят, что на Москву прорываются по несколько сот самолётов. Наш политрук сказал, чтобы мы никому не верили, т.к. слухи могут быть провокационными. Во время воздушной тревоги мы съели все шоколадные конфеты: думали, что нас разбомбят, и теперь Зинка заболела.



Сегодня мы почти всю ночь не спали, эшелон мчится без остановок. Впереди — фронт. Кажется, весь горизонт объят каким-то полыхающим заревом. Я никогда не видела северного сияния, но мне кажется, что это зарево чем-то его напоминает. Такие же сполохи, только багряно-красные.

Моё место на верхних нарах у окна, и мы по очереди смотрим в него. Обстановка какая-то тревожная. Страшно от неизвестности и непроглядной темноты. Но есть все основания предполагать, что когда всё станет известным, будет в тысячу раз страшнее. Не верю, что есть бесстрашные люди, каждому нормальному человеку знакомо чувство страха, всё дело в том, как он будет себя вести, испытывая этот страх. Мне только раз пришлось испытать настоящий страх во время прыжков с парашютом. Страшно было терять опору под ногами и шагнуть в воздух, но я справилась с этим. На фронте смешно будет вспоминать об этом "страхе". Но как бы ни было страшно и тяжело, я постараюсь справиться с этим. И если даже не придётся вернуться, я никогда не пожалею о том, что сделала. Останусь жива — мне не стыдно будет смотреть людям в глаза — я за чужой спиной не сидела. Ну, а если погибну — значит, так надо.

Скоро будут бомбить, — сказал политрук, и поэтому необходимо знать сигналы воздушной и химической тревоги. Противогазы всегда должны быть наготове. Воздушная тревога уже была — по вагонам раздалась команда — воздух!!! Мы отбежали немного и попадали на землю, но

самолёты прошли мимо, и бомбёжки не было. Мы проскочили Рославль, который беспрерывно бомбят, но всё обошлось благополучно. Сгрузились недалеко от Ярцева, значит, будем на смоленском направлении. Разместились в сарае на сене, где-то рядом бомбят. Громадный самолёт пронёсся над нашим сараем так низко, что не поверили мы своим глазам — как он мог не задеть его? Старший лейтенант — начштаба соседней части стрелял в него из пистолета, но, как и следовало ожидать, не попал. Меня назначили дневальной, проинструктировали о том, что нужно проявить максимум бдительности, т.к. немцы без конца сбрасывают десанты, то в форме нашей, то в форме милиции, то гражданской. Со мной Вера Бальба. Но мы решили, что будем дневалить вместе, лучше совсем не спать, так будет спокойнее. Когда была очередь стоять на улице, она ползала на четвереньках вокруг сарая, высматривая диверсантов. Политрук проверял, как мы несём службу, и когда увидел Верку «при исполнении служебных обязанностей», чуть не умер со смеху.



Я никогда не была в лесу. Какая сказочная красота! Описать невозможно. Рядом маленькая речка, изумрудная зелень, цветы, земляника. Если бы не было войны! Но война тут же властно напоминает о себе. В небе, прямо над нашей головой, начался воздушный бой. Самолётов было девять штук. Сколько наших, сколько фашистских — мы понять не могли. Настолько быстро они мелькали, выделяли такие сложные фигуры высшего пилотажа, что сердце замирало. Непрерывно трещали пулемёты. И вот первый самолёт с огненным шлейфом камнем пошёл к земле. Лётчик успел выброситься и спустился на парашюте, один из самолётов преследовал его. Было отчётливо видно, как вдруг мёртво обвисла фигурка лётчика под белым куполом. Когда мы увидели первый горящий самолёт, от радости начали плясать, как дикари, и взбесившийся часовой никак не мог нас успокоить. Было очень интересно и совсем не страшно. Самолёты факелами падали к земле, в воздухе вспыхивали белые облачка парашютов. К вечеру пришли обгорелые лётчики, и радость наша померкла. Оказалось, что сбитые самолёты были наши, и три лётчика погибли. Это были мессершмиты. Это они расстреливали в воздухе наших лётчиков. До сих пор мы думали, что гореть и падать могут только вражеские самолёты. На нас это произвело ужасное впечатление. Я всегда преклонялась перед лётчиками, для меня они необыкновенные люди, люди — птицы. В том, что их сбивали, они не виноваты, храбрости им было не занимать. Просто мессеры оказались намного лучше наших ястребков.

Рядом с нами БАО.<sup>4</sup> Аэродрома, каким он должен быть в нашем представлении, нет. Самолёты садятся на большую поляну и их затаскивают под ёлки и дополнительно маскируют. Немцы ищут их, заодно бомбят все соседние деревни. Солдаты из БАО соорудили что-то похожее на макеты самолётов и выставили их в нескольких километрах от нас, и обрадованные фашисты усиленно посыпали их бомбами. Жить стало спокойнее, «рама»<sup>5</sup> перестала висеть в воздухе.



Война для нас пока только тяжёлый труд. Мы делаем всё, о чём раньше и не помышляли. Роем щели, носим раненых, моем, стираем и т.д. Особенно трудно стирать. Нужно выстирать 75 пар белья, а к нему прикоснуться страшно — сплошная кровь. Спать почти не приходится. На войне ни с чем не считаются, лишь бы это было нужное дело. Учёные воюют рядовыми солдатами. Нам даже приказывали косить рожь (такая красавица, выше человеческого роста) и вязать снопы, а на другой день всё сожгли, т.к. подошли немцы.

Нам дали адрес:

**Действующая армия.**

**Полевая почтовая станция № 41.**

**Штаб армии. ПЭП 12.**

**Подразделение Фокина.**

Срочно послала домой.



Вместе с нами в лесу части на переформировке. Это первые для нас люди, которые видели фашистов, дрались с ними. Мы с раскрытыми ртами слушали их — всему верили, но как же не хотелось верить нам в то, что они своими глазами видели, как наши девушки пьют и гуляют с немцами. Один из солдат запустил в избу связку гранат, где развлекались с немцами "советские девушки", и сам чудом унёс ноги.



Писать просто некогда, да и не разрешают. Пишу украдкой. Наши отступают. Смоленск уже несколько раз переходил из рук в руки. По дорогам идут измученные раненные в грязных окровавленных бинтах. Это не

---

<sup>4</sup> Батальон аэродромного обслуживания

<sup>5</sup> Фоке-Вульф-189, двухмоторный двухбалочный самолёт, имевший два фюзеляжа, за что красноармейцы его и прозвали «рамой».

только те, которые могут быть эвакуированы пешком, это все, кто ещё в состоянии как-то передвигаться. Лошади тянут пушки, колёса вязнут в песке, лошади измучены так же, как и люди, и солдаты тащат пушки вместе с лошадьми. Немцы сбрасывают десанты. В соседнюю деревню сбросили диверсантов в форме наших милиционеров. Их уничтожили, и теперь все мальчишки в деревне щеголяют в милицейских фуражках. Целыми днями над головой гудят самолёты — идут на Москву. Заметив что-нибудь подозрительное, несколько самолётов отделяются от остальных и начинают пикировать. Я почему-то ещё ничего не боюсь. Самое страшное — смерть и страдание раненых.

Рядом с нами — разведрота. Её командир познакомил нас с мальчиком Колей Руденко, ему 14 лет, а он замечательный разведчик, уже награждён орденом Красной звезды. Он был в Артеке, и началась война. Когда он вернулся домой, чтобы попасть в своё село, ему нужно было перейти линию фронта. А немцы уже повесили его отца — председателя колхоза — и убили мать. Коля снова перешёл линию фронта и стал разведчиком. В тыл к немцам он ходит вместе с девушкой. Мы с Окрябриной (а она двадцать шестого года, ей ещё не исполнилось пятнадцати лет) уговариваем капитана взять нас к себе в разведку.

Раненые всё прибывают и прибывают. Мы уже сбились со счёта — сколько раз передислоцировались. Среди раненых стало много немцев. Есть финны и другие сволочи. Наши (о, святая наивность!) думают всерьёз перевоспитать их, им создают особые условия, но это на них не действует. Когда наших раненных проносят мимо них, они скрипят зубами от ненависти. А я с большим удовольствием прикасалась бы к удаву, чем к ним. Некоторым девчатам они плевали в лицо и это, находясь в плену. А что они делали, если бы было наоборот? А финны ещё хуже. У одного забинтовано всё лицо, оставлен только один глаз, так он готов испепелить всех этим единственным глазом. Их эвакуируют в первую очередь вместе с нашими тяжёлыми, носилочными. Но шофёры говорят, что почти ни один из немцев живым ещё в госпиталь не прибыл, наши умудряются расправиться с ними дорогой. Один немецкий лётчик просил, чтобы перед смертью (они все считают, что их убьют) выполнили его последнее желание — показали ему Марию Ивановну, так называют наш новый реактивный миномёт, превращающий в пепел всё живое. Но их ещё пока так мало, что мы и сами их не видели.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Мария Ивановна – так поначалу называли гвардейский миномёт, который вошёл в историю под именем «катюша».



Немцы бросают листовки с портретом сына Сталина — Василия в форме лётчика-лейтенанта (действительное ли это фото — мы не знаем). Пишут, что он и сын Молотова уже перешли к ним. Призывают сдаваться, говорят, что сопротивление бесполезно, обещают в самое ближайшее время взять Москву. На листовках печатают пропуска, с которыми можно являться к ним. Предлагают брать с собой котелки и ложки. Если нет пропуска — можно просто сказать — "штыки в землю!" или "Сталин капут". Это будет служить пропуском.

У нас было закрытое комсомольское собрание — читали секретный приказ маршала Тимошенко об изменниках Родины. Находятся, оказываются, и среди комсомольцев такие сволочи, которые, пытаясь спасти свою шкуру, становятся на путь предательства. Не думаю, чтобы они поверили фашистским листовкам — слишком грубая работа и надо быть последним идиотом, чтобы верить всему этому. Ларчик открывается просто — сволочи, шкурники, трусы, предатели.



Обо всём, что происходит, можно сказать словами Пушкина: "... и смерть, и ад со всех сторон". Писать не хочется, да и нет возможности, и категорически это запрещено. Пишу во время так называемого отдыха. А кто был на войне, тот знает, что такое отдых. Валишься замертво, не разбирая, куда и ещё не прикоснувшись к тому, на чём тебе придётся лежать, засыпаешь.

О нас теперь уже не скажешь "не нюхавшие пороху", мы давно уже приняли боевое крещение и нас теперь не обманешь звёздочками на крыльях, как было в Брянске в июле. Мы и по силуэтам и по звуку различаем и юнкерсы, и мессершмиты и фокке-вульфы — они висят постоянно над нами, и невозможно себе представить небо без них.

Мы — в Алексине.

Не хватает слов, чтобы описать этот райский уголок. Густой сосновый бор на высоком берегу красавицы Оки. Идёшь по этому необыкновенному лесу, и вдруг в самом неожиданном месте появляется сказочный дворец с резными башнями и крылечками, с витыми лесенками, невиданными куполами и не верится в реальность происходящего, и кажется, какие-то волшебные силы перенесли тебя в мир сказки. И тебе чудится, что на крылечке стоит Василиса Прекрасная, а из-за ближайших сосен вот-вот появится Иван-Царевич на сером волке. Но все эти сказочные домики-дворцы, так непохожие друг на друга с таким искусством и любовью кем-

то созданные, от которых «русским духом пахнет» — забиты до отказа ранеными. На каждом шагу видны указатели — ППГ №..., ППГ №... и т.д.<sup>7</sup>

Немцы знают, что здесь расположились госпитали, самолёты забрасывают листовками. Обещают не бомбить, предлагают после выздоровления отправить по домам. Раненых грузят на баржи и отправляют по Оке. Город бомбят.

Мы пока ещё ничего не боимся. Во время бомбёжки Олюшка, Ира и я находились в столовой. Все убежали, а мы съели по несколько порций и ушли, не дождавшись конца бомбёжки. Долго не могли попасть на нужную дорогу, спорили, предлагали разные варианты, на ходу сочиняли: сошлись и заспорили как ближе до Алексина, до города дойти. Девчата наши поют:

*На востоке немец ходит  
Возле дома моего.  
Побомбит он, постреляет  
И не скажет ничего.  
И кто его знает  
Зачем он стреляет?*



Мы отходим, отходим, отходим. Сколько оставили городов, сколько убитых, сколько осталось в окружениях. Каким чудом удалось нам выскокить из Вязьмы — непонятно. Там окружили несколько армий. Наша армия почти полностью в окружении. Ночью вышли в Серпухов, не успели разместиться, как всех подняли по тревоге. На город сброшен десант, и мы окружены. В кромешной тьме, боясь каждую секунду потерять друг друга, стали выходить из города. Кругом была стрельба, и ничего нельзя было понять. Сколько нас вышло из города, мы пока не знаем. Шли всю ночь, на рассвете подошли к какой-то деревне. Немцев здесь ещё не было, нам приказали остановиться и ждать остальных.

Мы неразлучны с Олюшкой и Ирой. Нет уже Лиды, она струсила и уехала домой: нам — добровольцам, была предоставлена такая возможность и десять девчонок уехали. Мы бежали вслед за машиной, свистели, кричали: дезертиры, трусы, предатели... Но они всё равно уехали. Зина осталась, но её роман с лейтенантом Борисом Катерницким расстроил

---

<sup>7</sup> ППГ - полевой подвижной госпиталь

нашу дружбу. Было обидно, что Зина так быстро превратилась в искательницу приключений, теперь у нас с ней нет ничего общего. Значит, выбор мой был ошибочным и дружба наша, начавшаяся ещё в школе, оказалась случайной и недолгой. Но об этом я нисколько не жалею. У меня есть новый друг — Олюшка Сосницкая, с которой я когда-то сидела за одной партой и никогда не думала, что между нами может быть что-нибудь общее. Олюшка и здесь не унывает, не падает духом, распевает свои песни. Олюшка — замечательный товарищ, для которого личного ничего не существует, она никогда не бросит в беде, это настоящий фронтовой друг, и этим сказано всё. Я так к ней привязалась — нет для меня человека дороже. И ещё один друг — Ира Шашкина. Мы все трое неразлучны.



Узнали новость — нас отправляют в Гусь-Хрустальный на формирование. Нас это никак не устраивает. Мы должны, во что бы то ни стало, остаться на фронте. Немцы подходят к Москве. Нужно срочно принимать меры. Олюшка пришла и сообщила, что в деревне, где мы ночевали, стоят части 126-й стрелковой дивизии, которая закончила формирование и не сегодня-завтра начинает действовать. Втроём вынесли решение — на формирование не идти, убежать от своих и вместе с дивизией остаться на фронте. Дивизия (вернее её остатки) только что вышла из окружения под Вязьмой, сформировалась и входит теперь в состав 16 армии (большая часть которой тоже осталась под Вязьмой). Командовать армией будет Рокоссовский. Договорились с комиссаром медсанбата Тарасовым. Он берёт нас к себе. Решили бежать ночью в лес и ждать, когда уедут наши. Среди ночи мы ушли в лес и оттуда вели наблюдение. И вдруг на рассвете дивизия поднялась по тревоге, на опушке выстроились машины медсанбата, а наши уже узнали о побеге и ищут нас по всей деревне. К нам присоединились ещё пять девчат. Мы пробрались к медсанбатовским машинам, только устроились в них, и из-за кустов показался политрук с солдатами, но было уже поздно — машины отходили. В общем, побег был совершен классически, и через несколько дней дивизия вступает в бой. Теперь мы будем воевать в 16-й армии, 126-й стрелковой дивизии, 222-м отдельном медико-санитарном батальоне (ОМСБ).

Мы не разлучаемся, и все трое будем в операционно-перевязочном взводе. Командир взвода — военврач третьего ранга Мотренко Валерий Анатольевич.



Вот мы и в 222 ОМСБ. Командир роты Г.А. Астапенко взял нас с собой в разведку — разведать место для дислокации. Мы ехали на санитарке по московскому шоссе, но нам приказали остановиться в деревне Каменка, так как шоссе простреливалось. Над головой беспрерывно шли на Москву вражеские самолёты. Сосчитать их было невозможно. С нами вместе комиссар батальона Тарасов. В деревне большое скопление машин с боепри-

пасами, но немцы идут пока мимо или потому, что машины хорошо замаскированы, или хотят донести до Москвы свой смертоносный груз. Какой-то солдат стал обстреливать самолёты из зенитного пулемёта и, конечно, немцам никакого вреда не причинил, но машины демаскировал. И двенадцать юнкерсов отделились от остальных и начали пикировать на опушку леса, где стояла наша машина. Я была вместе с Женей Дегтяревой (мы ходили в деревню). Она первая добежала до машины и упала на землю. Я до машины добежать не успела, взрывная волна опрокинула меня прямо в лужу. Первые бомбы разорвались там, где стояла наша машина. В воздух взметнулись огонь, земля, какие-то обломки (я подумала — как в кино), но тут же обожгла мысль — неужели наши погибли? Я увидела ясно, как бомбы летели на нас, и уткнулась лицом в лужу. Вот она — смерть! В это мгновение жизнь моя передо мной не проносилась — на это не хватило бы времени, несмотря на то, что она была очень короткой. Я только успела подумать — какой же идиотской меркой мы все измеряли?! Из-за случайной двойки по физике я когда-то ревела чуть ли не целую неделю.

Раздался сильный взрыв. Землю основательно тряхнуло. На меня посыпались комья земли. Я хотела вскочить и бежать к своим, но бомбы продолжали рваться, выли пикирующие юнкерсы, раздавались крики и стоны раненых. Я подбежала к Жене. Она была вся в крови, капитану, лежащему рядом с ней, оторвало обе ноги. Он сказал только — какие вы счастливые!

У нас не было ни одного индивидуального пакета, все было в машине. Случайно нашлись косынки, и мы постарались превратить их в жгут. Но разве они помогут при таком сильном кровотечении? Откуда-то здесь оказались гражданские. К нам бежала женщина с девочкой на руках и кричала: «Окажите ей помощь! Окажите ей помощь!» — но девочка уже не нуждалась ни в чьей помощи. Я впервые увидела убитых детей. Это так страшно, невозможно найти слова, чтобы передать. Раненые просили помощи, воды. Горели ветви деревьев, которыми были замаскированы машины, огонь змейкой уже бегал по многим из них. Сейчас, если не успеют их отогнать, начнут рваться боеприпасы. Самолёты пошли на второй заход. Шофера отгоняли машины, солдаты вытаскивали раненых, мы помогали. Нужно бежать к своим, может быть, их уже нет в живых. Но они оказались живы. Ранена только одна из наших девчонок в руку. Ира так усердно пряталась, что голова её попала между двух деревьев, и мы еле-еле её вытащили. От страха мы плохо соображали. Нашей раненой нужно было снять телогрейку и гимнастёрку и перевязать руку, а мы обрезали ей рукав на телогрейке и на гимнастёрке, и потом пришлось прикалывать булавками.

А бомбы всё продолжали рваться, и мы с большим трудом покинули эту поляну. Только вечером нам удалось снова двинуться к Москве.



На ночь остановились в Мало-Ярославце. Шофёр достал на складе чудесных белых маринованных грибов, приготовленных на экспорт. Мы

съели целое ведро грибов и таз картошки. Так мы давно не пировали. Спали как убитые, а утром еле-еле вырвались из города. Прибежала хозяйка, сказала, что в городе немцы. Хорошо ещё, что остановились на окраине. Нас обстреливали из пулемётов, по дороге рвались снаряды, спаслись просто чудом.



Ночью въехали в Москву. Всех нас охватило необыкновенное волнение. Вот она — столица нашей Родины (которой я ни разу не видала<sup>8</sup>). В голову приходят всякие высокие слова, вспоминаешь Пушкина и Лермонтова. Какой раз уже за нашу историю враги рвутся к ней. И эти, которые сейчас находятся на её подступах, мечтающие повернуть колесо истории, в какой-то степени уже добились этого. В смысле жестокости они ничуть не уступают татаро-монгольским ордам, а, пожалуй, уже и переплюнули их.

Меня просто трясёт от волнения. Москва затемнена, только в необходимых местах огни маскировки. Мы проезжали по Крымскому мосту, так красиво отражаются в воде эти мерцающие огоньки.

Но темно в Москве только в минуты затишья. Во время вражеских налётов, а они длятся почти непрерывно, ночь отступает. Вот оно — "небо в алмазах". Московское небо превращается в какой-то светящийся шатёр, во всех направлениях его перерезают снопы трассирующих пуль и снарядов, то здесь, то там скрещиваются бесчисленные гигантские лучи прожекторов, и часто в это перекрестье виден ослеплённый, тщетно пытающийся уйти вражеский самолёт, но они держат его крепко. Кажется, нет уголка на московской земле, который не стрелял бы. Почти на каждом доме зенитки. Стоит такой грохот, что разве только прямое попадание можно будет ощутить.

Фашисты бросили все силы на Москву, они знают, что если теперь не возьмут её, то план блицкрига, который должен был, по замыслу Гитлера, осуществиться ещё в июле, сорвётся окончательно, а затяжная война и русская зима никак не входили в их планы.

Мы ночевали на квартире профессора мед.института — друга Астапенко. Расположились на полу под роялем. С нами вместе адъютант командира дивизии лейтенант Зураб Гвелесьяни. Какой замечательный парень — настоящий рыцарь. На днях мы попали под сильную бомбёжку и, когда самолёты израсходовали весь запас бомб, стали поливать нас из пулемётов на бреющем полете, меня прошила бы пулемётная очередь, если бы не Зураб.

---

<sup>8</sup> Подразумеваются строки из песни: «Письмо в Москву, в далёкую столицу, которой я ни разу не видал».



Мы узнали, что будем на Волоколамском направлении. Кто-то сочинил новую «Катюшу»:

*Шли бои на море и на суше,  
Над землёй гудел снарядный вой,  
Выезжала из леса Катюша,  
На рубеж знакомый, огневой.  
Выезжала, мины заражала,  
Против немца, изверга, врага.  
Ахнет раз — роты не бывало,  
Бахнет два — и нет уже полка.  
Не удастся замысел злодейский,  
Не видать врагам родной Москвы.  
От катюши нашей, от гвардейской,  
Врассыпную бегают враги.*



Пока мы находимся в деревне Некрасино. Наша дивизия вот-вот должна быть введена в бой. К нам приходил из дивизии какой-то командир (знаков различия у него нет), беседовал с нами. Мы ему обо всём рассказали: как мы убежали из своей части, не хотели быть в тылу и попали в МСБ. Ночью совершенно неожиданно нас арестовали и повели на допрос. Первой вызвали меня. Я вошла в комнату и чуть не упала — за столом сидел этот самый тип из дивизии, с которым мы незадолго до этого разговаривали. Мы ведь ему описали свой побег со всеми подробностями, а он оказался начальником особого отдела дивизии и вот теперь вызвал нас на допрос. Для какой цели? Неужели он думает, что мы что-нибудь скрывали? На столе у него стоит трехцветный немецкий фонарь, и зелёный цвет направлен на стул, куда он посадил меня. Освещалось только это место, остальная часть комнаты была в темноте. Каким отвратительным выглядел он в это время. В первую минуту я подумала, что это плен, и меня допрашивает немец и никак не могла отделаться от этой мысли. Я сказала, что ему уже всё известно и добавить к этому мне нечего. Особист говорит, что наш побег — это дезертирство. Я ему ответила, что он может считать как ему угодно, но мы это дезертирством не считаем. Мы в армии добровольно и хотим быть на передовой, а не в тылу. В ответ на это он сказал, что совсем не уверен в том, что мы не к немцам бежали, и меня спасает несовершен-

нолетие, в противном случае он бы меня расстрелял. Женя плакала, он назвал её мужа предателем, а муж у неё был военврачом-пограничником и погиб в первый день войны. Потом ввели Олюшку, и у меня поднялось настроение, она так стала ему грубить, что он прекратил допрос и выгнал нас.

Солдат с винтовкой, охранявший нас, ушёл. Мы помчались к комиссару, он нас успокоил, сказал, что брал нас он, и отвечать будет тоже он. Так закончилась наша эпопея с побегом. Особиста в дивизии звали бубновый король (теперь, когда я переписываю дневник, давно уже знаю, что он расстрелян в 42 году как немецкий шпион).

### **ДИВИЗИЯ ВСТУПИЛА В БОЙ <sup>9</sup>**

Первый раз разлучилась с Олюшкой и Ирой. МСБ разбили на несколько эшелонов, чтобы приблизить помощь раненым. Немцы наступают, они всё ещё во много раз превосходят нас во всём — в людях, танках, артиллерии и самолётах, — последние целыми днями висят в воздухе.

Раненые поступают без конца уже несколько дней, а нас с Люсей никто не сменяет — некому.

Все эти дни мы не ели и не спали, разве будешь думать об этом, когда для некоторых ребят секунды решают: жить или не жить. Приказали надеть каски и сверху обтянуть марлей (осколки стали попадать даже на операционный стол).

Первыми нашими ранеными под Москвой были ребята из курсантского полка, образованного из училища имени Верховного Совета РСФСР. Какие это мальчишки! Диву можно даваться. Самолёты шли сотнями, танкам не было конца, а они держались. Израненные, изрешечённые пулями и осколками, не покидали поля боя. У некоторых мы насчитывали буквально десятки ран, не хватало места в карточке передового района, чтобы записать все раны. Очень многие подрываются на минах (к сожалению, на наших). Самый первый курсант, которого я приняла, 22 года рождения из Житомира Степан Волоптовский с тяжёлым ранением в брюшную полость. Шок, перитонит. Когда я развязала повязку, наспех завязанную товарищами после ранения, пришла в ужас — рана была громадной с выпадением кишечника, на кишках сухие листья. Оперировали его больше двух часов, но умер через два часа после операции.

Я ненавижу старшую операционную сестру К. Трофименко — мальчик умирал, я рыдала, а она, сволочь, в этой же комнате хохотала, не знаю по какому поводу.

---

<sup>9</sup> Позже как комментарий будет сказано: «Для нас это означало, что мы стали задыхаться от раненых».

Мы с Люсей уже выходим из строя, нас никто не сменяет, у нас даже нет санитаров.

Сегодня обрабатывала ногу одному из курсантов (он подорвался на mine). Больше половины стопы совсем оторвана, а оставшаяся часть как будто бы рассечена специально, как веер, на множество полосок, и каждая из них дрожит, и всё это залито кровью. А он терпит и даже не стонет. Я держала-держала в руках эту ногу и повалилась под стол.

Я больше не могу стоять над столом — только развяжу повязку и падаю под стол. Но работы хватает и в новом положении. На коленках заполняю карточки передового района, делаю противостолбнячную, проверяю жгуты, повязки, собираю оружие, гранаты, запалы, таскаю на стол, занимаюсь сортировкой. У нас нет сейчас приёмо-сортировочного взвода, разбились на несколько эшелонов, и людей не хватает. Врач у нас в перевязочной тоже один, и его некому сменить. Наконец, прибыли наши, и мы сможем несколько часов отдохнуть. Люся ушла раньше, а я шла и спала на ходу. Меня дважды задерживали патрули, отводили в свои штабы, выясняли личность. Наконец, добралась до дома, где были наши вещмешки и где уже, сидя на скамье, спала Люся. Вместе с ней влезли на печку и уснули как убитые, не снимая шинелей, а хотели только согреться.



Бой шёл уже за деревню, задерживались потому, что не успели ещё всех эвакуировать. Как сумасшедший бегал дежурный по части по всей деревне — комбат приказал найти Дробкову и Карпову немедленно. Прошло уже сорок минут, уезжают последние машины батальона, дежурный за ноги стащил нас с печки. Вытянувшись стояли мы перед комбатом, размахивающим пистолетом перед нашими носами, так толком и не поняв, чего от нас хотели. Мы забились в последнюю машину, гружённую какими-то ящиками. Слышна автоматная стрельба, бьют по дороге.

В Болдино комбат вызвал к себе Дробкову и Карпову. Предчувствуя что-то недоброе, мы вошли и козырнули — он был не один. «Товарищ начкомдив, разрешите обратиться к командиру батальона» — комбат улыбался, значит, он забыл про вчерашнее, и краснеть не придётся. «Садись, Лена, — просто сказал комбат, — Обижаясь? Я вызвал тебя, чтобы от имени командования батальона объявить тебе благодарность. Молодцы, так будете работать, с орденами домой поедете (рад, что не похожа на Шашкину-машкину)».

Утром комвзвода читал приказ по части: «Дружинницам Карповой и Дробковой за образцовое выполнение... и т.д. ... объявляю благодарность».

— Служим Советскому Союзу! — браво отвечали мы с Люсей (она тоже Елена).



Мы отступаем, деревни меняются, как в калейдоскопе. В некоторых только развернёмся, выроем щели и, не успев принять раненых, уезжаем. В большинстве же из них, где хоть ненадолго задерживаемся, оставляем братские могилы, а в них мальчишки.

Мимо нас на передовую прошла 17 армянская горно-стрелковая кавалерийская дивизия, прибывшая из Ирана.

А через несколько часов мимо нас отступали остатки дивизии. Это не Иран, где их встречали цветами. Нас без конца бомбят, но мы не обращаем внимания. Раненые всё прибывают, их некуда класть — на полу, на соломе нет места. Дополнительно разбивают палатки. Где же он — бог? Что же не видит, что здесь творится? Нет никаких сил смотреть на эти страдания, они не поддаются никаким описаниям. Временами кажется, что это страшный сон или галлюцинации, но тебя тут же возвращают к действительности.

— Сестра, сестрёнка, сестрица, — слышится со всех сторон. Сердце разрывается на части. Тяжелейшие ранения в голову, в живот, в грудную клетку, открытые пневмотораксы, жгуты, которые нужно снимать, подорвавшиеся на минах, раненые разрывными пулями. Вот лежит танкист-лейтенант Борис Шпак, у него тяжёлое ранение верхней трети бедра с открытым переломом, ранение грудной клетки. Вместо шины товарищ привязал ему лыжу, жгут наложен уже почти два часа, под ним лужа крови, но он держится и только временами тихо стонет.

Рядом с ним хорошенький мальчик-лейтенант в белом полушубке, со светлым чубом просит подойти к нему. Я подползла, так как ходить негде.

— Сестрица... — прошептал он и стал сжимать мою руку. Каким-то неестественным показалось это пожатие — я схватилась за пульс: лейтенант умирал, я погладила его по лицу, слёзы душили меня, но я не имела права плакать здесь. Да и что такое плакать, когда такой ужас? Девятнадцатилетний лейтенант, Герой Советского Союза, отказался ампутировать руку и погиб. Срочно нужно тащить на стол раненого в шею — он задыхается, на губах всё время появляется розовая пена. Проклятые фрицы, вы ещё ответите за всё это, придёт час расплаты.

На мотоцикле примчался комбат — через пять минут ни одного раненого не должно остаться здесь — срочно грузить и в Высоковск. Хорошо хоть машин много, меховых одеял, спальных мешков... Срочно грузим раненых, в машины бросаем печенье, масло, хлеб, пачки сахара, а в деревне рвутся снаряды.

Астапенко был в Москве и привёз нам подарки: Ире большую коробку — набор духи, одеколон и прочее «XXIV годовщине Октября», а нам маленькие флакончики синие, похожие на фонарики затемнённой Москвы — «Огни Москвы». Какое это чудо, в жизни я не ощущала подобного запаха. Пахло чем-то неземным, прекрасным. Закроешь глаза, вдохнёшь этот запах — и вот уже нет войны, и ты в каком-то другом мире.

Вот какие чудеса может делать маленький волшебный флакончик-фонарик. А выпустишь из рук этот флакончик, и перед тобой Волоколамское шоссе, занесённое снегом, мороз выше — 45 градусов, гул юнкерсов, грохот взрывов. Снега выпало так много, что машины не могут пробиться, и мы по очереди ходим за кровью. Почти целый день уходит на это — и кровь тяжёлая, и мы не легко одеты (тёплое белье, суконное обмундирование, свитер, телогрейка и ватные брюки, шинель, подшлемник, шапка, шерстяные портянки, валенки) и, несмотря на это, мы обморозились. Полдня идёшь, а полдня лежишь в снегу, самолёты не дают подняться. У меня обморожены нос и щеки. А вообще обмороженные почти не поступают, только изредка I степени. Эвакуацией занимается Олюшка. Достает где-то сани и лошадей. Часть раненых (тяжёлых) укладывают на сани, тех, кто как-то может передвигаться, ведёт пешком по лесу, а в лесу и немцы встречаются, но она ничего не боится.

Мы поехали вперёд с Астапенко на новое место в голубом автобусе (так и не смогли его перекрасить). Была такая чудесная погода — мороз, лес, занесённый снегом, тишина вдруг такая, как будто бы не было войны. Мы вышли из автобуса и следом пошли пешком — он ехал очень медленно. С нами вместе был старший лейтенант из особого отдела, он остался в автобусе. Мы шли и любовались зимним лесом. Вдруг впереди раздались выстрелы, и автобус наш окружили немцы. Мы были без оружия, только у Астапенко пистолет, он приказал нам отползать, так как тем, кто остался в автобусе, мы помочь не сможем.

Мокрые, окоченевшие, добрались мы до деревни. В автобусе было всё наше имущество — дневники (вот почему запрещают их вести), фото, «Огни Москвы» и самое главное — вся ротная документация (Ира — ротный писарь). Ночью, когда мы принимали раненых, привезли старшего лейтенанта из особого отдела, того, что был в голубом автобусе. Как он мог доползти, понять было невозможно — у него не было живого места — весь изранен. Он не может себе простить — как мы могли так развесить уши. Обманула нас тишина. Он не сразу сообразил, когда увидел у дверцы машины фашиста в очках, что это фашист. Открыл дверцу и врезал немцу автоматом по морде, тот упал, а особист успел прыгнуть в кусты, вернее низкие ёлочки, занесённые снегом, и стал отстреливаться. Шофёра убили, а в него бросали гранаты, стреляли, и ему всё-таки удалось отползти, а там его подобрала солдата, услышавшие стрельбу. Ира трясётся, за утерю документов могут отдать под трибунал. Мы вспомнили ещё один случай с машиной. Мы вышли и шли пешком, а машина ехала впереди, и вдруг раздался взрыв, и от машины ничего не осталось. Налетела на противотанковую мину, и шофёр погиб.



Настроение ужасное, хотя все и уверены, что Москву не отдадим. Солдаты стоят насмерть, немцы прорываются только там, где уже некому стоять, где действительно стояли насмерть. Большую помощь оказывают москвичи. Мальчишки-школьники 9-10 классов стали бойцами лыжных батальонов. Без конца мимо нас мчатся они в лыжной форме цвета хаки (сверху белые маскировочные костюмы). Их забрасывают частично в тыл на аэросанях. Они тоже стоят насмерть. Ближние подступы к Москве все изрыты противотанковыми рвами, кругом опоясывают надолбы, ежи, зарытые в землю танки, доты, минные поля. Сотни тысяч москвичей работают от темна до темна, роя эти рвы, окопы, ходы сообщений. И всё же некоторые начинают поговаривать, что «Москва не есть Россия», это, так сказать, запасные позиции. Нет уж, надеяться на такие «запасные» не будем.

У меня ко всему ещё и личная большая неприятность. Могут отдать под трибунал — как посмотрит начальство. Я очень устала, почти ничего не соображала, — несколько суток не спала и вдруг поступает тяжело раненый прокурор дивизии. Он отдал мне свой крохотный пистолетик, который умещается на ладонке и документы на четырёх самострелов. Они были у нас в санбате, и мне их срочно нужно было разыскать. Я пистолет положила в карман брюк, бумаги взяла в руки, села на мешок с перевязочным материалом и ... уснула. Растолкал меня Астапенко. Бумаги у меня не было, самострелов тоже не было — их эвакуировали. Можно себе представить моё самочувствие! Прокурор меня просил, чтобы пистолетик был у меня, и я никуда его не сдавала, но я помчалась в штаб и немедленно сдала, пока цел. Вот и жду теперь решения своей участи.



Сегодня мы остановились в деревне, и нам крупно повезло. Хозяйка выделила нам кровать и громадную перину. Мы извлекли из вещмешков шёлковые рубашки (всё, что осталось от мирной жизни), надели их и втроём Ира, Оля и я улеглись на перину. Какое это было блаженство — передать невозможно. Во-первых, сон, во-вторых, перина, в-третьих, разделась, как в мирное время. А солдатики на полу — автомат под голову и только расслабили ремни — в общем, готовность номер один. Уснули, конечно, как убитые. Сколько проспали — неизвестно, и вдруг страшный грохот разбудил нас — в избу что-то попало. Кругом грохотало — рядом горело. Ничего нельзя понять и увидеть. Я успела схватить только телогрейку, уткнулась в сапоги. Больше ничего найти не могла. Выбежали на улицу, вскочили в первую попавшуюся машину и еле унесли ноги. Пропало моё обмундирование, документы и комсомольский билет.



У нас новая подружка — Тоня Скрупская, москвичка, пришла к нам из авиации в унтах. Отчество у неё не очень популярное — Адольфовна. Нам всем она очень понравилась, теперь нас четверо.

Мы остановились в деревне Городище, забито всё — не поймёшь кем и чем. Мы отыскивали одну избу, но там экипаж бомбардировщика, двое раненых. Они никого к себе не пускают, но нас пустили. На двери повесили — «сыпной тиф», чтобы больше никто не лез. Ребята мировые. Вместе готовили обед, продукты авиационные, нам такие и не снились. Садимся обедать вместе, кто последний выходит из-за стола, моет котелки и посуду.

Настроение у всех такое — есть очень хочется — вкуснота необыкновенная, а мыть никому не хочется. К концу трапезы начинаем выставлять из-за стола по одной ноге и таким образом на скамейке сидим уже верхом, почти боком к столу и потом, как по команде шарахаемся в сторону. Кто-то зацепил ногой скамейку, и мы все под громовой хохот растягиваемся на полу, и за столом никого не остаётся.

Тютин принёс Оле чемоданчик с вкусными вещами, так что пир продолжается. Очень жаль было расставаться с ребятами.



Наконец-то мы увидели «катюшу». Огневую позицию выбрали почти рядом с нами. Зрелище потрясающее! Сделали несколько залпов и уехали. И сейчас же появились юнкерсы, но бомбёжка никому вреда не причинила, а «катюш» уже и след простыл.

Мы остановились в большом селе, оно настолько забито войсками, что найти свободную избу — просто невозможно. Село сильно бомбят. Все ушли в кино. Иногда нам показывают фильмы в каком-нибудь большом сарае. И настолько у всех выработалась реакция на звук бомб и снарядов: как только в кино услышат — все пригибаются, а кто и ложится, ведь сидят-то на земле. А я осталась, очень хотела спать, да и ночью мне работать. И вот началась ужасная бомбёжка. Мне казалось, что скамейка, на которой я лежала, прыгает по комнате, но я продолжала спать. Было темно, самолёты спускались почти на бреющий, и кто-то ракетами им указывал объекты. Задержать никого не удалось. Ночью я дежурила, раненых у нас ещё не было, ко мне вдруг явился лётчик. Лётчик как лётчик — в шлеме, в комбинезоне и унтах, с планшетом и стал требовать, чтобы ему сказали, куда отправили лётчиков из их части, якобы находившихся у нас. Лётчиков, как он утверждал, было четверо. У меня хорошая память на фамилии, я без журнала почти всех помню, мы обслуживаем не только свою дивизию, отказывать никому не имеем права, и все рода войск у нас были, но лётчиков никогда не было, уж их-то я бы запомнила непременно.

Лётчик этот целый час морочил нам голову, рассказывал анекдоты, предлагал мне махнуть унты на валенки и т.д. Потом пошёл к начштаба — жаловаться. Романов вызвал меня и учинил разнос, но лётчиков у нас не было — это я знала точно. Ночью прибежал шофёр и сказал, что в его машине были наши вещмешки, а ему нужно ехать за ранеными, и он стал выгружать эти мешки. Один из мешков оказался очень тяжёлым, и он принёс его к нам. Вместе мы развязали мешок и ахнули — в нем было две ракетницы и ракеты. Это диверсант, который всю ночь сигналил самолётам, хранил один из своих мешков в нашей машине. Вызвали дежурного по части, начштаба. Я сказала Романову ещё раз, что лётчик ищет у нас того, кого никогда не было. И что ему вообще здесь делать, когда аэродромы от нас стоят за тридевять земель?

Лётчика задержали, вызвали в особый отдел. Ракеты больше не взлетали, хотя самолёты очень ждали их.

Лётчик оказался фрицем. А нам он всем сначала так понравился. Старший лейтенант из особого отдела рассказал, что в соседней деревне часовой стоял у штаба, и в это время низко над деревней идёт самолёт. И вдруг часовой увидел, как совсем рядом незнакомый политрук, со звёздочкой на рукаве выстрелил из ракетницы. Самолёт сбросил бомбы, накрыл штаб, отвалившейся стеной солдату придавило ноги, но он все же успел выстрелить в "политрука", он оказался диверсантом. А в один из политотделов прибыл полковник. Секретарь партийной организации, принимая взносы, обратил внимание, что за последние два месяца сумма взносов начислена неправильно. Он сообщил в особый отдел. Полковник оказался шпионом.

А положение всё ещё очень тяжёлое, и без конца раненые, раненые, раненые.



Я — в приёмно-сортировочном взводе, днями и ночами таскаю, колю, проверяю жгуты, готовлю к операционной. В уголке на соломе примостили патефон с единственной пластинкой «Письмо в Москву, в далёкую столицу, которой я ни разу не видал». Столица уже очень близка, ближе некуда, но многие действительно не видели её ни разу. Поступила первая партия раненых. Среди них ранее поступивший политрук увидел лейтенанта из своей части, и первый вопрос — как ребята? И лейтенант стал перечислять: убит, убит, убит, убит, убит и зарыдал, упав лицом в солому. Разве можно чем-нибудь утешить? Разве есть на земле такие слова?

Я заболела, высокая температура. Смотрели меня наши врачи, показывали армейским специалистам — профессорам — никто толком ничего не знает. Наш МСБ должен был срочно передислоцироваться, а меня в таком состоянии везти с собой нельзя было — я не держалась на ногах. Вре-

менно сдали в латышский МСБ, их дивизия рядом с нами. Я потеряла сознание. Рано утром, когда я очнулась, впору снова было терять сознание.

Все, кто лежал рядом со мной на полу в небольшой палатке, умерли. Им, видно, своевременно не могли оказать помощь, да может быть, и это им бы не помогло, и теперь уже мёртвым делали перевязки. Был строгий приказ, несмотря ни на что, в МСБ обязательно производить первичную обработку ран. Вскрывали братские могилы, проводили экспертизу, и после этого вышел строжайший приказ. Хотя я ни слова не понимала по-латышски, да и врачи их больше походили на евреев, понятно было одно, что таким путём они реабилитируют себя, делают то, что не смогли сделать вовремя.

Боясь как бы и меня не приняли за умершую, я потихоньку выбралась из шокковой палатки, но, к счастью, нового места искать не пришлось — за мной приехали наши и отвезли меня в Пушкино.



Мы снова с Люсей и на этот раз потерялись. Где искать своих — не знаем, как бы не угодить к фрицам. Пока обдумываем, что делать дальше; сидим в деревне Погорелки недалеко от Дмитрова. Решили переночевать ночь, а утром начинать поиски. На полу спать было очень холодно, и мы влезли на печку. Вдруг среди ночи слышим, как кто-то сверху стелет плащ-палатку. Мы дружно брыкнули ногами, и этот "кто-то", оказавшийся лейтенантом-артиллеристом, загремел вниз со всей своей амуницией. И чего на нём только не навешано было! Он оказался командиром огневого взвода, они заняли эту избу, пушки стоят во дворе, в подвал носят боеприпасы, у печки примостился телефонист. Совсем недалеко лес, а там немцы — в орудийную панораму хорошо видно, как они ползают, но наши идеально себя замаскировали, чтобы себя не выдать. Ни с чьей стороны не раздаётся ни единого выстрела, стоит такая необычная тишина, от которой давно отвыкли. У артиллеристов нет медиков, и они просят остаться у них. И мы решили пока остаться, начнётся бой — некому будет оказать помощь. Но наши оказались рядом, они чуть к немцам не попали — влезли за наше боевое охранение. Нам с Люсей приходится ехать со своими, артиллеристы остаются на огневой позиции. Дальше немец не пройдёт, отступать нам больше некуда — за нашей спиной Москва.

Мы едем в Бабушкин.

Наша дивизия разбита, и нас передали в новую 1-ю Ударную Армию, которая будет здесь формироваться. Формировка уже идёт, формируют её из моряков Тихоокеанского флота. Состоять она будет из морских бригад, а мы теперь будем именоваться 222 ППГ. На нашу новую армию возлагают большие надежды. Она должна стать ударной силой, которая начнёт разгром немцев. Говорят, что за формировкой следит Сталин.

Выдают самое лучшее обмундирование — белые полушубки, суконные гимнастёрки и брюки, свитера отличные, подшлемники, валенки, меховые безрукавки и рукавицы. Командующий армией — Кузнецов Василий Иванович.



Мы работаем на полную катушку. Рядом били «катюши». Ни на что уже не обращаем внимания, всё притупилось. И вдруг кто-то заметил, что снаряды начали лететь через нас. Между нами и фрицами наших никого не было, боевое охранение — позади нас. Как это случилось — никто не знает. Еле унесли ноги, нас уже за своих признавать не хотели.



Вот он — наконец наступил первый долгожданный праздник на нашей улице, так дорого оплаченный, такими неисчислимыми жертвами и такой кровью. Не получилось «малой крови» и «могучего удара», о котором мы пели. Но как бы там ни было, фашисты ещё не раз пожалеют, мы им такое «жизненное пространство» покажем, что много ещё поколений помнить будут. Поля Подмосковья уже чернеют от трупов и громадного количества техники, брошенной фашистами. Чего здесь только нет: и танки, и орудия, и машины, и какие-то фургоны громадные, и замёрзшие трупы. Их уже складывают в штабеля, чтобы меньше места занимали. Кого здесь только нет: и итальянцы, и испанцы, и прочая сволочь. Некоторые жители рубят им ноги, оттаивают на печке и щеголяют в немецких сапогах. К ним нет никакого сострадания и сожаления, для нас они — не люди. Культурная нация, раса господ, сверхчеловеки — что они сделали с нашей землёй, которую временно захватили. Везде следы разрушений. Сожжено, разграблено, разбито, уничтожено. От некоторых деревень остались одни печные трубы. Ничего не осталось от усадьбы Л. Толстого, разрушен домик Чайковского в Клину. А там, где не успели разрушить, в тех уцелевших зданиях, которые нам приходилось готовить к приёму раненых, всё так загажено, что передать невозможно, нужно только увидеть. Столько замёрзших испражнений пришлось нам счищать с полов классов, где раньше сидели за партами дети, столько всякой гадости вытаскивать, что пусть нам теперь никто не говорит о немецкой культуре. Своими глазами пришлось увидеть и своими руками вычищать эту «культуру».

Как они не были готовы к тому, что наши начнут бить их в таком количестве!

В церкви устроили так называемый госпиталь, даже суден у них не было. Для этого использовались каски. Ночью мы приехали в эту деревню. Стать негде, всё разрушено, нашли оторванную дверь и втроём кое-как разместились на ней на снегу, а мороз — сорок пять градусов. Все кругом

минировано, нам не разрешают сходить с дороги. Освободили Истру, Яхрому, Клин, Волоколамск, Солнечногорск и др. В Волоколамске не успели фашисты снять повешенных комсомольцев, в одном из колодцев обнаружили наших раненых, брошенных вниз головами. Снег был глубокий, и я в темноте провалилась в этот колодец.



Наступает новый, полный неизвестности, 1942 год. Что ждёт в этом году? Закончится ли война? На эти вопросы никто не может ответить. Встречаем его в Теряевой слободе недалеко от Волоколамска. Нам раздают подарки от англичан. Из Москвы приехал Астапенко. Привёз десять дружинниц-добровольцев. Мне очень по душе пришлись Оля Петушкина и Софочка Бунь.



Первая радость — письма из дому. Оказывается, немцы не были в Новочеркасске, был взят только Ростов. Все были живы и здоровы. В школе продолжали учиться. Мы себе даже представить не могли, чтобы вдруг сейчас сесть за парту в нашем 10-м классе и превратиться в школьников. Нет, мы солдаты и никогда уже не станем школьниками. У нас другая программа —

*Запевай, девчата, песню боевую,  
С песней в бой за Родину пойдём.  
Для своей отчизны, для страны любимой,  
Сотни жизней человеческих спасём.  
И десяткам женщин возвратим мужей мы,  
Для детей спасём любимого отца,  
Матери вернём мы дорогого сына,  
А для Родины — защитника-бойца.  
А о дружбе сердца мы грустить не будем,  
Я ушла на запад, он ушёл на юг.  
Если нужно будет, то подруги наши  
Жизнь ему, как мы дружим бойцам, спасут.*

А вот друга сердца у меня нет. У Иры другом сердца стал наш теперешний начальник ППГ Астапенко, Сергея Полянского она забыла. А Олюшкин Игорь учится где-то в военно-морском училище. Она потеряла медальон с его фото и три дня подряд ревела, до этого я никогда не видела её плачущей. Она считает, что это дурная примета и с ним она никогда не будет вместе.



У нас осталось только 32 человека нетранспортабельных. Приехал командующий армией Кузнецов, подходил к каждому, спрашивал чего бы тот хотел. Те, что смогли ответить, попросили красного вина и свежих яблок. Через два часа командарм прислал вино и свежие яблоки — несколько ящичков. А вино-то смогли пить только из поильников, и яблоки я резала на тонкие ломтики.



Мы стоим недалеко от Клина в Завидово на переформировке. А потом будем воевать на другом фронте. В деревне сохранилась часть домов, но стёкол нет нигде, а мороз — минус 40 градусов. Мы стелили на пол меховые одеяла и укрывались ими, так что жить можно. Обед берём на семь человек, а едим втроём. Я всю неделю пишу извещения — ...в боях за социалистическую Родину и похоронен в братской могиле на С-3, Ю-3, С-В и т.д. деревни такой-то.

Сколько горя, слёз, страданий несёт каждая написанная мною строчка. Их уже не было — сыновей, мужей, женихов. От них не было известий, но их ждали, была хоть какая-то ниточка надежды, что выживут, откликнутся, вернуться. И вот я несколькими страшными строчками рву эту последнюю ниточку. Я реву над каждым извещением, вместе со мной рыдает хозяйка. В конверт вкладывается только фото, если оно есть, остальное сдаётся в штаб. И ещё я пишу отчёты, в каждом отчёте человек 15–20 неизвестных. На каждого составляем акт с подробным описанием особых примет. Но кто их найдёт по этим приметам? Будут числиться без вести пропавшими.

Вот и закончилось сражение под Москвой, которое станет достоянием истории. Всему миру показал русский солдат, что и хвалёных «непобедимых» фрицев можно бить, да ещё как!

Олюшка организовала самодеятельность. «Заслуженная артистка 222 ППГ» называют её. Даже мы с Ирой пели «петлички голубые» и, конечно, песню московских дружинниц.



Всему личному составу 1 Ударной Армии объявлена благодарность  
Верховного Главнокомандующего. Самая первая.

## ПРИКАЗ ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПАДНОГО ФРОНТА

О действиях I-й ударной армии  
за декабрь 1941 г. — январь 1942 года

№ 033/от 20 января 1942 г. Штаб Западного фронта

Части I ударной армии, действуя в составе Западного фронта с декабря 1941 г. и беспрерывно участвуя в напряжённых наступательных боях, нанесли немецко-фашистским захватчикам ряд жестоких поражений и заставили их неудержимо откатываться на запад.

В великой битве под Москвой, где гитлеровцам был нанесён тяжёлый непоправимый удар, бойцам, командирам и политработникам I армии принадлежит почётное место. Невзирая на упорное сопротивление врага, холод и глубокий снег, войска армии продолжали своё победоносное наступление, освобождая сотни населённых пунктов, уничтожая многие тысячи неприятельских солдат и офицеров и захватывая многочисленные трофеи.

Всем бойцам, командирам и политработникам армии за доблестное, самоотверженное выполнение боевого долга **ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ** и **ПРИКАЗЫВАЮ** наиболее отличившихся немедленно представить к награждению орденами и медалями Советского Союза.

Желаю всему личному составу армии дальнейших славных побед над врагами нашей великой Родины, вплоть до полного разгрома и изгнания фашистской нечисти с Советской земли.

Вперёд, к новым победам, за Родину, за **СТАЛИНА**, под знаменем великой Большевистской партии!

Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадронах и командах I армии перед строем.

**КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ ЗАПФРОНТА**  
**ГЕНЕРАЛ АРМИИ ЖУКОВ**



Нас перебрасывают на другой фронт — на помощь Ленинграду. Мороз — 45 градусов, топить не разрешают, чтобы не демаскировать эшелон. Всё вещевое довольствие напялили на себя. Залезаем в спальные мешки, укрываемся, вернее, дневальный накрывает меховыми одеялами и матрацами.

Мы с Олюшкой умудрились отстать от эшелона. Пассажирские поезда не ходят. Идут только воинские — танки, орудия. На каждой плат-

форме часовой предупреждает, как и положено, что будет стрелять. Часовой есть часовой. Чудом удалось втиснуться в финские сани, они никак не охранялись, но в них кое-как можно сидеть, только согнувшись в три погибели. Через несколько станций мы превратились в сосульки, но окончательно оледенеть на сей раз не пришлось — догнали свой эшелон.

### **7–8 января 1942 года**

До Ленинграда мы не доехали. Разворачиваемся для приёма раненых в посёлке Фанерный завод, деревня Парфино, недалеко от Старой Руссы. Это не Ленинградский, а Северо-западный фронт. Немцев только что выбили из посёлка, они встречали рождество. Комната, где мы должны развернуть операционную, вся обита хвоей: сосной и ёлкой вплоть до потолка. Пол тоже устлан еловыми ветками. Сама ёлка украшена необыкновенными игрушками. Здесь мы не искали надписей: «проверено, мин нет!». Не ждали они нашу 1-ю Ударную. Их так лихо вышибли, что и столы остались накрытыми. Но нам некогда всё это рассматривать. Нужно принимать раненых. Латыши снова вместе с нами.



И снова началось — кокер, пепан, пинцет, шарик, салфетка, турунда, скальпель ... Если ранены мягкие ткани, делают глубокие рассечения от входного до выходного отверстия. Очень много ампутаций, резко увеличилось количество газовых гангрен. Снова поступил Николай Чуримов — Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета. На этот раз у него тяжелейшее ранение грудной клетки, открытый пневмоторакс. Произвели первичную обработку, что можно — зашили и отправили на специально за ним присланном самолёте. Сегодня снимала повязку у очень тяжёлого раненого, а стопа отвалилась и упала на пол. Это первый с тяжёлым обморожением.

Братские могилы растут, растут, растут. На фанере пишут фамилии. И так всё это недолговечно. Сотрётся и смоеется. Да ещё и старшина путает. Умер лейтенант Валентин Панов, я его запомнила, а на фанере написано к-ц<sup>10</sup> В. Панов.

Сегодня перестарались, поддерживая тепло в палатках. Искры из трубы падали прямо на палатку, и она вспыхнула как порох. Все бросились спасать раненых и одного всё-таки не спасли. Он забился под настил и задохнулся. Астапенко получил сильные ожоги, остальные почти никто не пострадал. У раненых ожогов почти нет.

---

<sup>10</sup> Красноармеец

Иногда мне приходится работать в приёмо-сортировке. За день сдаю в штаб целую кучу денег — окровавленных, пробитых осколком или пулей. У меня такое отвращение к этим деньгам, что кажется, хватит его на всю жизнь. Для меня они чуть ли не символ фашизма. Проклятые фашисты, захватили всю Европу, и всё им было мало, мало, мало, захотели весь мир.

## **22 марта 1942 года**

Снова передислокация. Мы должны двигаться по коридору, отделяющему 16-ю немецкую армию от остальных немцев. Дорога простреливается. Мы уже были в этом коридоре, но всё обошлось благополучно. На этот раз фрицы как сбесились, по-видимому, они хотят прорваться к окружённой 16-й армии, и начали артподготовку. Казалось, что били со всех сторон. Гром, гул, визг, треск и шипение — всё слилось в какой-то страшный марш, и над всей этой грохочущей, вздыбленной от разрывов дорогой, медленно опускаясь на своих парашютиках, мертвенным зловецким светом поблёскивали ракеты. Мы думали, что к рассвету сумеем проскочить, но только начало сереть, в воздухе появились самолёты. Их было столько, что сосчитать было невозможно, и они начали крутить свою страшную карусель. Не успевала одна группа выйти из пике, как вторая уже пикировала. Нам приказали рассредоточиться. Я не помню, как я очутилась возле громадного сугроба. Под снегом оказалось прошлогоднее сено. Рядом со мной был Мотренко и «обе половинки». Все как по команде, как страусы, стали прятать головы в это сено, изо всех сил стараясь влезть под него. «Половинки» от страха хрюкали. Но спрятаться под этим сеном нам не удалось, да и не было смысла. Оно было рядом с дорогой, а фрицы бомб не жалели, они рвались всюду. Мы поползли, подниматься нельзя было, бомбы рвались непрерывно. Доползли до какой-то избы, там уже была Ира, но радоваться не было времени, фрицы стали бить по деревне, избушка начала подпрыгивать. Девочки вслух бормотали — господи, помоги! господи, помоги! и ещё что-то в этом роде. Бабка-хозяйка кричала на нас: будьте вы прокляты, это вы привели сюда немца! Где мы жить будем?

Бомбы ложились так плотно, было просто непонятно, как мы ещё живы. Мы стали отползать от деревеньки, я потеряла снова Иру и увидела, как по снегу бежала Шура Ковалёва почему-то без валенок, в одних носках. Мы не слышали друг друга — страшный грохот разрывов, завывание бомб и сирен, которые при пикировании включали самолёты, оглушил нас. Машины наши горели. Мы, боясь потерять дорогу из виду, отползали недалеко от обочины, ежеминутно зарывались носом в снег и отряхивались от земли и снега, которым нас засыпало. Расправившись с колоннами и израсходовав запас бомб, самолёты стали охотиться за нами. Вот он мчит на бредущем прямо на тебя так низко, что, кажется, хочет раздавить своими колёсами. Чёрные кресты на жёлтом фоне, из кабины ясно видно лицо (если так можно назвать) фашистского лётчика в очках — у него глаза прямо

зверские!<sup>11</sup> Он присматривается, как бы не промахнуться: снег вспарывает пулёмётная очередь — рядом, совсем рядом, в нескольких сантиметрах. Кто-то не выдержал, вскочил и побежал, и снова над тобой очки фашиста и пулёмётные очереди. Это же расстрел, самый настоящий расстрел! Нервы не выдерживают. Будет ли этому конец?

Только ночью ушли самолёты, и прекратилась стрельба. В какой-то избе я снова нашла Иру. Какая это была радость! Как мы с ней бросились друг к другу! Нам казалось, что мы вернулись с того света. С того света, не с того света, а уж в аду точно побывали. Никогда не забуду этот день. Где все остальные, мы пока не знаем. И живы ли они?

К утру из Великого села пришёл Астапенко, которого мы уже считали погибшим, и с ним офицер связи. Немцы прорвались к 16 армии и наш коридор перерезали своим коридором.<sup>12</sup> Трудно что-нибудь понять во всей этой каше. И надо же было нам именно в этот момент оказаться здесь! Теперь мы в окружении... Н.К. Брянцева — дежурный врач — записала в журнале: «Во время передислокации колонна подверглась сильному арт-обстрелу и бомбёжке, во время которой все машины и имущество госпиталя погибло». Уцелела одна машина аптеки с шоколадом. Нам раздали по несколько плиток шоколада. Итак, мы в окружении. Удастся ли выйти?

<sup>11</sup> Юнна Мориц, великий русский поэт, пережила в детстве подобное. Она прочла эти строки и вот что написала: «Именно так всё и было, и зверское лицо лётчика было таким, он хохотал. У меня давно об этом были стихи в моих книгах:

Из горящего поезда на траву  
Выбрасывали детей.  
Я плыла по кровавому, скользкому рву  
человеческих внутренностей, костей...  
Пилот, который летал надо мной, —  
Коричневая чума, —  
Скалился и хохотал, как больной,  
Который сошёл с ума.  
Он реял в летающем сундуке,  
В лобовое влипал стекло.  
Я видела свастику на руке  
И то, что со лба текло».

<sup>12</sup> Вот что потом довелось прочитать у В.Лациса об этом коридоре: «По обе стороны дороги всю ночь не смолкали орудия, и всё вокруг то вспыхивало под светом ракет, то меркло. По обе стороны был фронт, посередине узкий коридор, по которому проходила дорога. Справа болотистые берега озера Ильмень с бесчисленными устьями рек, старинные села, рыбацьи посёлки и город Старая Русса; там фронт был повернут на запад. Слева от коридора находилась недавно окружённая 16-я немецкая армия, так называемый Демянский плацдарм — громадный мешок, в котором метался со своими дивизиями генерал-полковник Буш. Местами коридор был так узок, что дорогу, по которой двигались наши колонны, могли обстреливать артиллерия и тяжёлые миномёты. Во второй половине апреля (точно помню 22 марта) в результате длительных боев, немцам, наконец, удалось прорезать коридор, который последние зимние месяцы отделял 16-ю армию от главных сил. Образовалось подобие узкой горловины. Её с обеих сторон можно было покрывать нашим миномётным огнём, и она превратилась в подлинную дорогу смерти, где каждый день гибли сотни неприятельских солдат».

### **Конец марта. После 22 марта**

Липно, Ходыни, Веряско, Большие Горбы, Малые Горбы, Великое село, Рамушево... Мы заучиваем маршрут выхода из окружения. Нам выдали белые маскировочные костюмы (рубаха с капюшоном и брюки), в котелки положили топленое масло, смешанное с сахаром (другого ничего не было). Пристегнули к поясным ремням, проверили, чтобы всё было хорошо подогнано, так как мы должны проползти незамеченными, а малейший звук может погубить всех. Будем двигаться цепочкой, дистанция — 10 метров. Идём по Ловати. Снег мокрый, пополам с водой, одежда промокла, валенки кажутся пудовыми. Идём — это слишком громко сказано. Сделаем несколько шагов — взлетает ракета. Падаем и лежим, пока погаснет, только поднялись — снова ракета. Мы так измучились, что нет сил пошевелить пальцем. Всё время лежим в мокром снегу. Катя Новикова, я и ещё кто-то из девочек стали просить начштаба, чтобы он нас пристрелил, мы не в состоянии двигаться. Он пообещал пристрелить после войны. День пролежали в лесу в снегу, а ночью снова все сначала.

Проходили Рамушево, шёл мокрый снег, ничего за ним не было видно. В одном месте проходить было совсем трудно, дорога была чем-то завалена, смёрзшимся, засыпанным снегом. Оказалось, здесь шли в психическую атаку эсэсовцы, пьяные, а наши моряки их уложили здесь, и вот по этим фрицам нам пришлось ползти. Офицера связи мы потеряли, и нас выводят партизаны. Бесстрашные, до последней капли крови преданные Родине — это действительно народные герои, с такими умирать не страшно. Израненные, окровавленные, умирающие — они не стонали, а только проклинали Гитлера и обещали ещё показать ему, как русские люди дерутся за землю свою, а если надо и умирают. С их помощью мы вышли в расположение нашей 41 бригады, но они тут же «успокоили» нас — они тоже в окружении. В общем, понять ничего нельзя — какой-то слоёный пирог: немцы — наши, немцы — наши. Связи с нашим начальством нет. Ждём дальнейших указаний. Ко всему ещё — нам нечего есть. Комиссар партизанского отряда Виктор Петрович зовёт нас к себе, у них совершенно нет медиков.

### **Последние дни марта**

Мы расположились недалеко от Борисовки. Рядом пушки ОЗАД,<sup>13</sup> а разбили палатки — пришлось потрудиться: три операционных, две перевязочных, для раненных несколько, для себя. Пока ещё никого не приняли. Выпало много снега, подморозило. Лес — необыкновенной красоты, сне-

---

<sup>13</sup> Отдельный зенитный артиллерийский дивизион

жинки искрятся при свете луны. Небо, кажется, увидели впервые: тихое, усыпанное звёздами — крупными, необычными, таинственно мерцающими и переливающимися различными оттенками, как драгоценные камни. И тишина — недобрая, гнетущая. И вот наступила разрядка — все девчата ревут, я тоже не отстаю. Вызвали Беленкина, приказали играть. Стали танцевать, но настроение ни у кого не поднялось. Только улеглись спать, я услышала, как кто-то вошёл в палатку. Это начсанарм. Астапенко вскочил, он что-то шептал ему, и мы поняли, что дело плохо. Разбудили Иру, ведущего хирурга Н.Е. Сизых. Его посылают сделать попытку прорваться, так как нас ещё раз окружают. Вместе с ним в санитарку сели Ира и я. Дорога простреливалась, без конца начали рваться мины. Н.Е. как с луны упал: «Что, мина? Откуда мина? Товарищ боец, пойдите — узнайте, откуда мины». Мы с Ирой кляли его, на чем свет стоит (конечно, шёпотом, ведь он наше прямое начальство). Пока товарищ боец будет выяснять — ни от него, ни от нас ничего не останется. Хорошо, что у него хватило ума не выполнять идиотского приказания, и он гнал машину на всю катушку. И мы проскочили. Вырвутся ли наши? Недаром у нас был о такое настроение. На другую ночь прибыли все, самый последний — Астапенко. Ира от радости повисла у него на шее. Он очень хорошо держится. Глядя на него, и мы не падаем духом. Когда бомбят, наблюдает в бинокль, считает бомбы.



Выйти из окружения не удалось, выходили из одного — попали в другое. Теперь наша 1-ая Ударная будет воевать в окружении. С самолётов должны сбросить перевязочный материал, инструментарий — всё, что нужно для того, чтобы мы могли работать. Нам придают ОРМУ (отдельную роту медусиления). Продуктов у нас нет никаких, кто-то достал неизвестно где несколько ящичков янтарной кураги и мы сварили из неё что-то вроде каши. Какой это был праздник! Есть возможность выспаться, но сон не идёт. Как мы будем в окружении? Как будет воевать армия? Разве можно самолётами доставить и вооружение, и боеприпасы, и продукты и медикаменты, и кровь, и вывезти раненых? Наших самолётов вообще не видно, зато фрицы не дают поднять головы. Политрук для поднятия настроения проводит беседы о героизме и прочее. Как ни странно, любимой моей героиней была Надежда Дурова, и мне кажется, что не от большого ума наложен запрет на издание этой книги Чарской. Меня лично она потрясла, и осталось после прочтения не преклонение перед «обожаемым монархом», чего, очевидно, боятся, а преклонение перед героями, которые больше жизни любили Родину. Прочитав эту книгу, настолько проникаешься её истинно русским духом патриотизма, романтики, который уже до конца дней сохранишь в себе.

**Апрель 1942 г.**

Стоим в деревне Большая Вещанка. Раненые всё прибывают и прибывают. Ловать разлилась, эвакуировать некуда. Все домики забиты до отказа. Валимся с ног, но вовремя оказать всем помощь не успеваем. Продуктов нет, медикаментов не хватает. Самолёты изредка сбрасывают кровь и сухари. Повреждённые при приземлении банки с кровью отдаём раненым — они её пьют. Сухарей выдают по 50 граммов. На самолётах вывезли двух раненых комбригов 41 и 44 бригад. Обещают дать много самолётов. В соседней Поддорье расчистили аэродром и ждём, ждём, ждём.

Самолёты стали прилетать большими группами, за ночь до 60 штук. Привозят боеприпасы, продовольствие, а увозят раненых. Здесь же находятся представители частей, которые получают то, что им положено (но по сравнению с тем, что действительно положено, это жалкие крохи). Эвакуировать разрешают только командиров старших и средних. Младших и рядовых пока не разрешают, а они ползут с перебитыми, зашинованными ногами к аэродрому. Страшно смотреть на эту картину.

Мы по очереди дежури́м на аэродроме. В «Дуглас» помещается двадцать с небольшим человек (почти все лежачие, набивают, как селёдок). Четырёхмоторные ТБ<sup>14</sup> берут больше. Летят над немцами, в Валдае оставляют раненых (дальше их отправляют по железной дороге), а сами на день улетают в Москву, там безопасно. А у нас, как нарочно, появилось столько раненых командиров, как никогда. Прибыли шестьсот лейтенантов из РКК, их всех бросили в бой, не успев распределить по частям, и от них почти ничего не осталось — остатки у нас. Выпуски двух московских академий тоже не успели распределить по частям, и они попали под угол катюши. Что от них осталось — попали к нам, но смотреть на них страшно. Очень много раненых в голову, у одного оторвана начисто нижняя челюсть, сплошь и рядом в бессознательном состоянии.



Сегодня делала перевязку старшему лейтенанту политруку роты, армянину. Сквозное пулевое ранение кисти. Я сделала уже перевязку, отметила в карте передового района и вдруг увидела

*ауторанение?*

Я показала Мотренко, он приказал перевязать заново. Посмотрели внимательно — кожа вокруг раны обожжена. Сказали ему. В ответ на это он стал кричать, что мы не знаем что такое рукопашная схватка — немец стрелял в упор. Но пришлось передать прокурору, оказался точно самострел, и политрука расстреляли. Вечером готовили к операции тяжело ра-

---

<sup>14</sup> ТБ-3 – тяжёлый бомбардировщик.

ненного лейтенанта из РКК Ваню Рымаря. Вливали ему кровь, делали сердечные и т.д. Он очень просил меня написать матери в Алтайский край. Его взяли на операцию, а я ушла дежурить на аэродром. Утром, когда вернулась, мне сказали: твоего подопечного уже вынесли. Ваня лежал в сарае на носилках, накрытый своей продырявленной во многих местах шинелью. Я приподняла шинель, чтобы ещё раз посмотреть на этого девятнадцатилетнего мальчика, который только ступил на порог жизни.<sup>15</sup>

Я никогда до смерти не забуду этих мальчишек (сколько их было и сколько ещё будет!) и в самую трудную минуту, когда силы будут покидать, буду вспоминать этих ребят и мстить проклятым немцам, не жалея ни сил, ни жизни.



Как только могу выбрать минутку, бегу в 29 домик, там подобрались такие ребята, которых нужно обязательно как-то поддержать. Одного из них, младшего лейтенанта Володю Зайцева, считают моим братом. Мы с ним похожи, как две капли воды, и почти ровесники — ему уже исполнилось восемнадцать лет. У «Зайчика» ампутирована правая рука очень высоко, и он совсем упал духом. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы вернуть братишке интерес к жизни, и вот он уже, видя меня, не плачет, а улыбается, начал писать левой рукой. Значит, все в порядке.<sup>16</sup> Володя, как и старший лейтенант Саша Кренцев, с ампутацией ноги, Николай Кульбака с ампутацией руки, Саша Иванов, воскресший из мёртвых, ещё будут жить и помогут Родине.

Сегодня ночью усадила в самолёт весь двадцать девятый домик. Володя оставил адрес родителей, он из Архангельской области, Карнопольского района. Счастливого пути!

Я работаю временно с ассистентом профессора Филатова Харлип С.Е. Она производит энуклеацию (удаление) глазного яблока. Смотреть на это — тем более помогать этому — ещё тяжелее, чем при ампутации.



У меня совсем плохо со здоровьем. Чего только не ставили: и пневмонию, и сепсис, и т.д. Олюшки нет. Мы спим с Тоней на полу в избе на шинели. Всего нас девять человек. Ночью выйти невозможно, очень тесно, изба маленькая. Ира ушла к Астапенко. Нам по-прежнему дают пятьдесят граммов сухарей. Если бы не хозяйка, не знаю, как бы мы себя чувствова-

---

<sup>15</sup> Его просьба будет выполнена через сорок лет. До этого — все эти годы — мать Вани будет считать своего сына без вести пропавшим. Ей напишут, где погиб её Ванюша, и где он похоронен. Через две недели после получения этого письма старенькая Ванина мама умрёт.

<sup>16</sup> Впоследствии "Зайчик" окончил Свердловский юридический и стал прокурором

ли. Астапенко уговаривал меня не раз эвакуироваться на самолёте до Москвы, но я не хотела расставаться со своими, ведь снова к ним я не попаду. А сегодня уговорили окончательно. Самолёты нам больше не обещают, снова нужно будет выходить из окружения, я буду для них балластом. Приехала Олюшка, тоже уговаривала меня и проводила на аэродром. Мне кажется — легче было бы умереть, чем расстаться со своими.

### **8 мая 1942 года**

Самолёт, на котором я летела, уходил последним. Летим до Валдая, там я должна сдать раненых и лететь в Москву. Самолёт идёт над немцами, лучи прожекторов пробивают чёрные занавески на иллюминаторах. Ребята кажутся настолько бледными (а может быть они такие и есть), что на них страшно смотреть. Бесперывно бьют немецкие зенитки и лётчик, стараясь выйти из зоны огня, так лихо маневрирует, что нам начинает казаться, что самолёт разваливается на части, и мы стремительно летим вниз, то подбрасываемся вверх на катапульте. Огонь прекратился уже у самого Валдая. А меня всё-таки задел осколок, к счастью легко, аэродромные медики сделали мне перевязку.

Аэродром Валдая действует только ночью, все подсобные службы находятся под землёй. Я с трудом разыскала начальника отряда, чтобы получить разрешение на полёт в Москву. Он разрешил и назвал номер самолёта, на котором я могу лететь. Но когда я вышла из подземных сооружений, самолёт, на котором я летела до Валдая, был совсем рядом и уже убрал лесенки и запустил моторы. Ребята, узнав, что мне разрешили, подтянули меня на руках, и мы полетели. Уже начало сереть, шли почти на брющем, видно все как на ладони — каждое деревце, кустик. Какие же мы были идиоты! Прячась под деревьями, мы думали, что нас не видят немецкие лётчики. Да лучшей мишени придумать нельзя.



В Москву прилетели утром. Нас окружили лётчики, посыпались тысячи вопросов: как Старая Русса? Как катюши? Как партизаны? Как фрицы? И т.д. и т.п. А аэродром громадный, очень много самолётов стоят открыто, только под каждой часовой. До Москвы далековато. Дежурный сказал, что командир отряда едет в Москву и усадил меня в его машину. Комотряда напоминает громадную жабу, только в петлицах четыре шпалы. Он уселся рядом со мной на заднее сидение. Вот уже от кого я не ждала нежных излиятий! Он сказал, помимо всего прочего, что шофёр везёт нас к нему на квартиру, что мы там неплохо проведём время (ординарец завалил чуть ли не всю машину пакетами и свёртками), а потом, если я не пожелаю с ним остаться, он отправит меня на самолёте в Ростов. Ехать железной дорогой бессмысленно — сильно бомбят, особенно узловые станции. Если бы мне пришлось ползти, и то я поползла бы до Ростова, только подальше от этого "благодетеля". Но как мне от него избавиться? В это время у стан-

ции метро регулировщик перекрыл движение, машина резко затормозила, я нажала на ручку дверцы и вывалилась из машины. Регулировщик снова взмахнул флажком, и машина рванулась. Передо мной оказалось заднее овальное стекло и удивлённая жабья морда — я ей показала язык! Все произошло так неожиданно, что я забыла в машине своё имущество. Ну, ничего! Это ещё не самое страшное.



И вот — я в Новочеркаске! Радости не было границ, камни хотелось целовать. Как с неба упала. Никто не верил и не узнавал. Мама, когда увидела меня, не поверила своим глазам.

Радость померкла, когда я увидела, что творится в городе — танцы, танцы, танцы. Хотя комендантский час начинается с восьми вечера. Локоны, завивки, маникюры ... Почему война не для всех? Почему одни такие же, да нет в тысячу раз лучше, должны умирать на фронте? А другие в это же самое время танцуют, веселятся, развлекаются, как будто ничего не случилось? Помнят ли они о тех, которые там, на фронте дерутся и умирают за них? Нет, эти пустые, накрашенные и разряженные куклы ничего не помнят. Главной целью их жизни являются наряды, локоны, маникюры, танцы и брюки, безразлично какие, лишь бы в петличках побольше знаков различия. И это — мой родной город ...



Думала ли я совсем недавно, находясь в самом пекле, в окружении, что со мной может произойти такое — увижу родных, буду в Новочеркаске, и будет Саша. Так совсем неожиданно пришла ко мне любовь. Саша только что окончил Грозненское училище, был направлен на фронт и чуть ли не в первом бою ранен. Рана его заживает, он уже может ходить. В старом городском саду цветут липы, аромат их опьяняет. Нам кажется, что нет войны (до нас не доходит протяжное, берущее за душу завывание высоко идущего юнкерса). В целом мире только мы и запах цветущих лип. Если бы можно было остановить, хотя бы продлить это прекрасное мгновение! Люблю тебя, Ленка, родная, слышишь? Люблю. Как можно любить ещё больше, лучше? Скажи мне, научи! Неповторимая прелесть первого поцелуя, второй раз ощутить её нельзя — это даётся один раз в жизни. Может быть, эти мгновения — это всё, что отпущено тебе, ведь война так неумолима и каждую секунду напоминает о себе завыванием юнкерсов, пока только идущих на Ростов, сиренами воздушной тревоги, комендантским часом и прочими атрибутами прифронтового города. Она не может отпустить даже лишнего часа — Саша уезжает на фронт. А как бы хотелось хоть на несколько вечеров вернуть украденную юность. И вот от всего осталось — последний вагон уходящего поезда, на подножке Саша, машущий пилоткой до тех пор, пока не скрылся из вида.



Обстоятельства складывались так, что какое-то время мы были на одном 3-м Украинском фронте (или рядом в одно время были в Днепропетровске и Пятихатках), но ни разу за всю войну не встретились.

Мы отступали — был сорок второй,  
 Меня любимой ты тогда называл,  
 А в небе высоко над головой  
 Шёл юнкерс и надрывно завывал.  
 До юнкерсов ли было нам тогда?  
 Ведь мы с любовью в первый раз встречались.  
 И этот первый — было навсегда,  
 Уж в этом мы никак не сомневались...  
 Была она ни первой, ни последней,  
 Меня всегда коробят эти бредни,  
 Она одной — единственной — была.  
 Все было в ней: и горечь расставания,  
 И жизнь сама, победа, радость встреч,  
 И будущего счастья ожидание.  
 Ну, как её мне было не собрать?  
 Я пронесла её через войну,  
 Меня она хранила, согревала  
 И сильной быть она мне помогала.  
 Я навсегда ей верность сохраняю.



Вот и кончилась сказка, которая может быть только на войне. Саша предлагал идти в ЗАГС, но я отказалась. Это несерьёзно. Как я потом смогу доказать, что верность хранила? Впереди война, я должна быть на ней, а там всё очень непросто. Если всё это, что было в течение такого непродолжительного времени (в общей сложности и суток не наберётся) окажется настоящим, значит, будем вместе. Если, конечно, вернёмся с войны. Мы

же ещё почти дети, это война заставила нас забыть об этом. Мои подружки сдают экзамены за десятый класс.

Тёплый ветер дует,  
Развезло дороги,  
И на южном фронте  
Не везёт опять.<sup>17</sup>  
Тает снег в Ростове,  
Тает в Таганроге.  
Эти дни когда-нибудь  
Мы будем вспоминать...

Об огнях — пожарницах,  
О друзьях — товарищах,  
Где-нибудь, когда-нибудь  
Мы будем говорить.  
Вспомню я пехоту,  
И родную роту,  
И тебя, случайный друг,  
Что дал мне закурить.  
Давай закурим, товарищ, по одной.  
Давай закурим, товарищ мой!

На родной стороне

---

<sup>17</sup> Речь идёт о том, что во время первого немецкого наступления на юге их выбили из Ростова. Потом, после 1942 года, когда они взяли Ростов, Майкоп, Краснодар, Нальчик, овладели всеми перевалами Главного Кавказского хребта, стали петь так: «Дует тёплый ветер, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге... Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать».

Слышны плач и стоны.  
Мушкетеры, заколоти мать.  
За детеныш наших  
Псы отведут кровью,  
И как сон кошмарный  
Мы будем вспоминать  
Об огнях — пожарах...

Снова нас Одесса  
Встретит как хозяев.  
Снова милых сердцу  
Сможем мы обнять.  
Славную Каховку, город Николаев,  
Эти дни когда-нибудь  
Мы будем вспоминать...  
Об огнях — пожарах...

И когда не будет  
Немец и в памяти,  
И к своим любимым  
Мы придем опять,  
Вспомним, как на запад  
Мы шли по Украине.  
Эти дни когда-нибудь  
Мы будем вспоминать...  
Об огнях — пожарах...

Несколько раз в день пою я эту песню. Просит меня об этом папа. Она приносит уверенность в том, что и Каховка, и Николаев, и Одесса, снова будут нашими, приносит уверенность в победе над фашистами.

Николаев — город его боевой молодости. Здесь служил он на флоте на крейсере "Прут", здесь ходил в увольнение в город, на парках которого были вывешены объявления: «Собакамъ и нижнимъ чинамъ входъ воспрещёнъ», здесь встретил он Революцию, стал председателем Военно-революционного судового комитета, здесь принимал участие в разоружении и аресте командующего Черноморским флотом адмирала Колчака. Золотой кортик "За храбрость" Колчак им не отдал, поцеловал и бросил в море.

Папа очень переживает, что не принимает участие в этой войне с фашистами. Ему приказано ждать особого распоряжения, а это значит, когда наши оставят Новочеркасск — остаться в тылу врага. Я прошусь остаться с ним, но он категорически отказал мне в этом. Куда бы не отходили наши — я должна уйти с ними.



Мы попытались эвакуироваться с населением, но это невозможно. Одна-единственная переправа не может пропустить не только всех желающих гражданских, ею не могут воспользоваться даже военные. Бомбят её круглые сутки. Ночью вешают люстры<sup>18</sup> (в Новочеркасске видно) и пока не разобьют, не улетают. Только восстановят, снова посыпались бомбы, бросают даже пятисотки. Но, несмотря на это, тысячи людей под бомбами и обстрелом ждут чуда — возможности переправиться, не хотят оставаться у фашистов. Согнали очень много скота, но нет никакого сомнения, что он весь останется на правом берегу Дона. Чуда не будет, будет хуже с каждым часом, и мы вернулись. У нас во дворе никто никуда не собирается, говорят: "Что людям, то и нам". А я не хочу сидеть и ждать, что мне преподнесут фашисты, я уйду, во что бы то ни стало с последним солдатом или погибну, но не останусь. Уйти пришлось совсем неожиданно через несколько дней. Прибежала Валентина и закричала, что на Хотунке немецкие танки, а утром по радио сообщили, что бои идут в районе Миллерово... Новочеркасск — не Севастополь, защищать его некому, и вообще как-то всё странно происходит: не слышно, что фронт совсем рядом. Или может быть, его просто обошли, фрицы это могут. Несколько дней была бомбёжка, а артиллерии совсем не было слышно. Мы уходим с Шурой вместе с двумя лейтенантами и их ординарцами. Один из них — Иван Иванович, на мой взгляд, не первой молодости из РКК — поклялся маме, что отвечает за нас головой.

---

<sup>18</sup> Осветительные ракеты на парашютиках.

Вот так, как стояли, так и ушли с пустыми руками, не взяв ничего с собой. Пошли в сторону Ростова, надеясь где-нибудь найти переправу. Я шла почти всё время босиком, так как из дому выбежала в туфлях на каблуках, и идти в них было невозможно, кроме того, я умудрилась о зазубренный осколок поранить ногу, а в данный момент вся надежда на ноги. В Мишкино нарвали яблок, немного погрызли, к ночи пришли в Пчеловодную. Переправа рядом, но её беспрерывно бомбят. Где-то за Аксаем бьют «катюши», их сразу отличишь от всего остального. И зарево от разрывов совсем недалеко. Значит, дальше идти некуда. Ночь провели в заброшенном сарайчике — все спали, я всё ждала, может быть, уйдут самолёты. Перед рассветом затихло, и мы помчались к переправе. Только ступили на мост, и на нас посыпались бомбы. Мост сразу был выведен из строя. Недалеко от моста девочки-связистки, кажущиеся такими маленькими, нереальными, в больших касках, как грибочки, тащат на себе здоровенные катушки — тянут связь, то и дело припадая к земле. Разбивши переправу, самолёты начали обстреливать всё вокруг.

Рядом стоит зенитная батарея, на ней одни девчонки, и когда им удалось сбить юнкерс, то они от радости стали обниматься, целоваться и пустились в пляс, не обращая внимания на огонь с неба.

Несколько дедов на лодках перевозили солдат через Дон, попали и мы в это число, не знали, как и благодарить деда, отдали ему мишкинские яблоки, больше у нас ничего не было. Но противоположный берег оказался островом, кругом была вода. Дед, старая белогвардейская сволочь, сделал это сознательно. На острове оказалось много таких, как мы. Целый день пролежали мы под бомбёжкой и обстрелом в высокой траве. Горел Аксай, появились наши ястребки, начался воздушный бой. Один у нас над головой дрался с тремя мессерами, и они его подожгли, он врезался в остров и взорвался. Это зрелище меня лично убило окончательно. И ещё страшно смотреть, как наши танкисты разгоняют танки и топят их в Дону — нет горячего, и не на чем переправиться. В Аксае наши рвали эшелоны с продовольствием и боеприпасами для лётчиков. Солдаты набрали ящики с шоколадом, и теперь мы грызём шоколад.

Когда стало темнеть, я случайно обнаружила в камышах лодку и приволокла её к берегу — это было спасением, все ликовали. Мы стали переправляться на этой лодке самыми первыми, т.к. лодку отыскала я. Ночь провели в Ольгинской, станица забита войсками, с большим трудом отыскали дом для себя, но бабка не хотела нас впускать, солдаты заперли её в подвале, а мы разлеглись на перинах и благополучно проспали до утра. Весь день и полночи шла я босиком и в лейтенантском плаще с двумя ку-

барями. Ребята-танкисты говорят — эта девушка совершает блиц-драп.<sup>19</sup> Они зовут меня к себе, у них нет медиков, но Иван Иванович не отпустил, расписался за меня, сказал — ППЖ<sup>20</sup> при желании ты всегда успеешь стать, а я пока жив, отвечаю за тебя головой. Пришли в Весёлый, но скоро пришлось уходить — немцы были рядом. Днём самолёты стали летать на бреющем, мы попрятались в копны, но они разбрасывали листовки, засыпали, как снегом. Листовка-пропуск, каких много было в начале войны. Снова:

**Штыки в землю, или Сталин капут. Берите котелки и ложки, переходите на нашу сторону, сопротивление бесполезно.  
Севастополь наш, взят Ворошиловград и Ростов, наши танки в 70 км от Сталинграда.**

Положение действительно ужасное. Это самый настоящий блиц-драп. Ничего нельзя понять — встретятся несколько человек, и все из разных армий. Но на эти фашистские листовки все плюют. Они вызывают ещё большую злобу и ненависть. Остановимся где-нибудь, зацепимся за что-нибудь. Заградотряды начали своё действие. Всех задерживают и направляют на пункты формирования. В Сальске меня тоже отправили в МСБ, но я ушла, так как нужно куда-нибудь пристроить Шуру. А там уж я сама направлюсь, без дела не буду.

В Сальске мы все же распрощались со своими попутчиками лейтенантами Иваном Ивановичем и Гришей. Иван Иванович в армии с начала войны, а до этого был парторгом ЦК на большом Керченском заводе, а Гриша — кадровый. Если бы не они, ещё неизвестно, что было бы с нами. В Сальске горят элеваторы, склады; жители растаскивают муку и зерно, нет ни капли воды. На прощание мы напекли пышек, тесто за неимением каких-либо жидкостей месили на яичках. Эти пышки и были нашим прощальным обедом.



На станции были указатели, как в сказке — направо пойдёшь — на Кавказ попадёшь, налево — в Сталинград. Мы подумали и решили дви-

<sup>19</sup> От нем. Blitzkrieg – война-молния, или молниеносная война: Blitz – молния, Krieg – война; Blitzkrieg – немецкий пропагандистский штамп, обозначавший агрессию Германии против СССР. Начальник Генштаба сухопутных войск Франц Гальдер писал в своём дневнике 3 июля 1941 г.: «... не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она ещё не закончена. Огромная протяженность территории и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будут сковывать наши силы ещё в течение многих недель». Слово «блицкриг» стало потом нарицательным, означающим, как правило, провалившуюся наступательную войну, завершение которой планировалось и пропагандировалось в кратчайшие сроки. Блицдрап – невесёлая шутка наших солдат, понимаемая как молниеносное отступление: драпать (уст. жарг.) – убежать.

<sup>20</sup> ППЖ – (шутл.) – полевая походная жена.

гаться в сторону Кавказа. Там в Георгиевске была тётя Зина, у неё можно оставить Шуру, в армию её не берут.



Мы пристроились на эшелон с повреждёнными самолётами. Первый раз в жизни, когда началась бомбёжка, я не пряталась от бомб. На самолётах были действующие пулемёты, и лётчики вели из них стрельбу по фашистам, а мы подавали патроны, и страха никакого не было — одно желание безмерное — сбить фашиста. С большим трудом добрались до Георгиевска, но дядюшка стал на нас кричать: "За каким чёртом вы так далеко заехали? Не сегодня-завтра немцы будут и здесь!" Он уже не верил в победу, это — ст. лейтенант Красной Армии! На другой день во время бомбёжки его убило — разорвало прямым попаданием бомбы, а мы в ночь ушли из Георгиевска, не зная дороги, не имея кусочка хлеба, ничего нам не дали (хотя у них было и мясо), и когда мы первый раз уходили, он был ещё жив. Жорка пытался тайком нам что-нибудь сунуть, и никто не пытался остановить.

В темноте мы подошли к мосту через какую-то речку, но нас не пустили часовые, сказали, чтобы мы искали брод, где-то есть такое место, но мы побоялись. Нас пустил в сторожку сторож моста, дал нам помидор и кукурузы целый таз, не то что родственники, а сам ушёл в какую-то балку, где пряталась от бомбёжки его семья. А у нас хватило ума остаться. Мост бомбили всю ночь, нам казалось, что не только кровать подпрыгивает, но и вся сторожка, но деваться нам было уже некуда. До утра сторожка выстояла, только окна вывалились, а на рассвете мы помчались по какой-то дороге и снова прибыли в Георгиевск. Потом были: Моздок, Прохладная и, наконец, Грозный.

В Грозном совершенно нечего было есть, зато шампанское лилось рекой, разогнали продавцов и пили его полулитровыми банками. Выпили и мы по банке. Шура решила выходить замуж за лётчика, а я пошла в республиканский военкомат, чтобы меня направили в часть. Дежурный капитан сказал мне: "Куда я тебя направлю? Пришвартовывайся к какому-нибудь командирчику и драпай до Индии". Я ушла со слезами, такой мерзавец пристроился в военкомате за чужими спинами. Куда деваться — неизвестно. Вышел приказ Сталина — НИ ШАГУ НАЗАД! Из города никого не выпускают, а я никуда не могу устроиться.

Замужество Шуры не состоялось. Она нашла своих знакомых по Новочеркаску — военный трибунал фронта, с ними вместе мы выехали в Махачкалу.

И вот —

**Немецкий штык, немецкая каска  
Торчат у Новочеркасска.**

Эти строки я прочитала в Махачкале. Что дома — неизвестно, но ничего хорошего там быть не может. Самое главное — папа.



1943 год был ознаменован принятием нового гимна Советского Союза. Я тогда была на Северо-Кавказском фронте в эвакогоспитале 1614, была комсоргом госпиталя. Я в отделении сыпного и брюшного тифа. Мне было поручено проверить знание нового Гимна у медперсонала. Я беседовала с каждым человеком и выясняла, выучил он или нет.

Там были такие строки:

**Мы Армию нашу растили в сраженьях,  
Захватчиков подлых с дороги сметём.  
Мы в битвах решаем судьбу поколений..<sup>21</sup>**

На фронт меня не отпускают. Я написала 5 писем лично Сталину, но мне никто не ответил. Получаю письма от отца Саши — Василия Михайловича. Они получили извещение, что Саша пропал без вести под Сталинградом. Зовут меня к себе, называют дочкой, пишут, что раз потеряли сына, — пусть у них будет дочка. Я им ответила, что рвусь на фронт, особенно после всего, что случилось, могу ли я быть в тылу? И вдруг телеграмма: отменить "без вести". Саша жив! Он уже командует ротой, награждён орденом. Каждый день хожу к начальнику госпиталя, прошу откомандировать на фронт. Я ко всему ещё комсорг госпиталя, но несмотря ни на что, на фронте я всё равно буду и очень скоро, вплоть до того, что сбегу.

К нам поступило несколько раненых, которых мучили чеченцы. Привязывали их к дереву и протыкали кинжалами руки и ноги. Спасли их совсем случайно, но руки и ноги некоторым пришлось ампутировать. И ещё доставили партию из Прохладненского лагеря военнопленных. 20-летние ребята похожи на 80-летних стариков, превращённых в скелеты.

В госпитале я встретила замечательного человека — грузинку по национальности — Папашвили Анну Николаевну. Я её никогда не забуду.

Нам не дают на руки документов, чтобы не сбежали на фронт. Но госпиталь наш формировался в Одессе, и там большинство евреев попало в него. Вот и сейчас у нас — Зусман, Фогельман, Зильберман, Юровская. Куда же они побегут, они и здесь себя не очень уютно чувствуют. Как только воздушная тревога — их никого не увидишь.<sup>22</sup> Начальник госпита-

---

<sup>21</sup> Много позже, через 66 лет как комментарий было сказано: «И тогда нам было понятно, и теперь, какие это были правильные слова: в битвах решалась не только судьба поколений нашей страны, решалась судьба человечества. Мы уже тогда понимали это, это было видно».

<sup>22</sup> Позже был добавлен комментарий: «На Северо-Западном фронте была у нас одна врач-еврейка. Она, понятное дело, очень боялась попасть в плен и, чтобы не достаться живой немцам, всегда носила с собой смертельную дозу морфия, чтобы при угрозе неминуемого плена впрыснуть себе его. Одно её беспокоило:

— Леночка, где же я стерилизовать шприц буду?

ля дагестанец — кумык Алибеков — хороший человек. Больные у нас очень тяжёлые — помимо ранения сыпной или брюшной тиф, или дизентерия. Я в госпитале нахожусь круглосуточно, очень редко ухожу спать на квартиру, хоть она и рядом. Друзей у меня нет. Сдам дежурство и вожусь с кем-нибудь из тяжёлых. Выходила младшего лейтенанта Ванечку. У него тяжелейший сыпняк и раздроблена лопатка, ему кусачками по частям её откусывали без наркоза. Он так ко мне привязался, когда переводили в хирургический госпиталь, плакал как ребёнок.

Часто хожу к своим выздоравливающим. Они мне даже боевой листок посвятили. Почти все, не окончив школу, ушли на фронт. Вспоминаем школу, читаем стихи, потихоньку поём фронтовые песни. Сегодня проводжала на фронт большую группу своих подопечных и среди них капитана Сашу Шустова, он командир отдельного миномётного батальона, ему 21 год. Скромный, хороший парень, ничего мне не говорил, а когда уходил, попросил разрешения писать мне и просил отвечать на его письма, сказал, что этим будет жить. Меня это очень удивило, тем более он знал, что я переписываюсь с Сашей (его об этом проинформировала моя сестрица, она даже один вечер гуляла с ним в парке, но больше он с ней не пошёл). Я, конечно, буду отвечать на его письма, разве можно поступить иначе.



Завтра большая выписка офицеров с направлением в штаб Южного фронта — в Ростов. Я ходила к начальнику госпиталя, просила меня отпустить на фронт, сказала, что всё равно убегу, а если не удастся, то повешусь у его кабинета. Он, наверно, принял меня за ненормальную, приказал выдать мне две справки — одна вместо удостоверения личности, о том, что я медсестра э/г 1614, вторая о том, что мне предоставлен отпуск на две недели. Но чтобы выехать из города, нужен пропуск, его-то он мне и не дал.

Я договорилась со своими ребятами, что они возьмут меня с собой. Бедные, им бы отдохнуть хоть немного, они же совсем не оправались от болезни, а у одного вынута часть лобной кости и видно, как пульсирует вещество мозга, его пальцем достаточно ткнуть, и конец.

Вот и прибыли мы в Ростов. Знакомо только название — громадными буквами — РОСТОВ-ДОН, остальное — развалины. Побродили с ребятами по городу — Энгельса<sup>23</sup> начисто сметена с лица земли. Зашли к бабушке, попили чайку, и распрощалась я с ними. Они пошли в штаб фронта, я — в Новочеркасск.

— Генриэтта Аароновна, для чего Вам его стерилизовать? Вы же смертельную дозу себе введёте!

<sup>23</sup> Ныне Б.Садовая

Май сорок третьего года. Новочеркасск. Никогда не знала, что существует такая «проза» — железнодорожные войска, и уж тем более не думала, что мне придётся служить в них. Мечтала о передовой, но, увы, меня стал разыскивать мой эвакогоспиталь 1614, возвращаться в него я не собиралась, вот и пришлось определиться в первую попавшуюся часть, стоящую в Новочеркасске. Замполит, беседуя со мной, сказал, что мамы со мной не будет и перины тоже. Я ему ответила, что войну начала под Смоленском, была под Москвой, под Старой Руссой, отходила в сорок втором на юге без мамы и перины. Одно-единственное утешение — люди, кажется, здесь неплохие, но это на первый взгляд. Да и сталкивалась я пока с очень немногими. Врач батальона — Брагин Кузьма Фёдорович — прекрасный человек, ко мне относится как к представителю детского сада, называет меня «барышня». Я в санчасти батальона, занимаюсь распределением медикаментов по ротам, веду приём, выполняю кое-какие процедуры, занимаюсь санпросветработой, снимаю пробу пищи в мелких подразделениях и техроте. Меня ещё прикрепили к третьей мостовой роте, там была фельдшер Л. Сосницкая — развратная девица, её откомандировали из батальона, и вот теперь третья рота — тоже мой объект. Знакомлюсь с ротой — командир роты капитан Чаленко Геннадий Иванович, бывший директор школы, мягкий и добрый человек. Помпотех<sup>24</sup> — старший техник-лейтенант Белянкин — мне не понравился, неприятный тип. Командир первого взвода, гвардии лейтенант Тарасов Михаил Иосифович, пришёл в батальон из госпиталя, участвовал в освобождении Новочеркасска, пушки его били по Красному спуску (по-моему, он равнодушен ко всем женщинам без исключения). Командир второго взвода, бывший политрук старший лейтенант Зайцев Алексей Гаврилович. Его я ещё не видела, мне заочно его представила Лиля, хозяйская девочка. Алёша не сходит у неё с языка, его взвод стоит на Хотунке. Капитан возил меня на Хотунок, были на квартире у Алёши (я мысленно позволяю себе так его называть), но его не оказалось дома. По всему, что я увидела, пыталась определить его характер. Он старше меня на три года, самый молодой из офицеров в роте. Не буду спешить с выводами, но, в общем, впечатление положительное. Командир третьего взвода — Сапожников Евстафий Александрович — симпатичный человек. Командир четвёртого взвода с громкой фамилией Суворов, но она идёт ему так же, как корове седло. Чурбан с повышенной самооценкой. Несмотря на то, что я целый день с раннего утра до позднего вечера на ногах (только пробу снять нужно в трёх местах — в техроте, в мелких подразделениях и в третьей роте — свободного времени

---

<sup>24</sup> Помощник командира по технической части.

совершенно нет), работа моя мне не нравится – никакого удовлетворения. И ещё — острое чувство одиночества. Кроме того, я каждый день хожу в вендиспансер. Дело в том, что солдат заболел гонореей, взял автомат, явился к этой девице и весь диск разрядил в неё. Его будет судить трибунал, но до этого нужно вылечить. И вот я иду на гауптвахту и оттуда веду его в вендиспансер. Там же я встретила двух наших капитанов, одного из них в очень пикантном положении, если можно так выразиться. Жаль, что берет держала в руке, а то б я его поприветствовала. А второй потом стал ходить в санчасть, я его колола, но у него убийственный диагноз — *Lues cerebri*,<sup>25</sup> и его демобилизовали.

### **ИЮЛЬ СОРОК ТРЕТЬЕГО ГОДА**

Мы все ещё в Новочеркасске. На фронте затишье закончилось, начались тяжелейшие бои под Курском, Орлом и Белгородом. Олюшка там, в разведроту. Я так ей завидую! А мне хотя бы в санбат, пусть бы снова было: сестра, сестрица, сестрёнка!.. пусть бы снова разрывался на части, но чувствовал себя нужным, необходимым.

Саша тяжело ранен под Белгородом, находится в госпитале в Гурьеве, возможна ампутация, спрашивает, как я отношусь к этому. Я написала: что бы ни случилось, моё отношение не изменится. Разве можно написать что-то другое? Да, что бы ни случилось!

Снова долбим винтовку.<sup>26</sup> «Стебель, гребень, рукоятка...» Собираем и разбираем затвор. Ходим за город в карьер на стрельбище, занимаемся строевой. Лида Лебедева запекает: солдатюшки, brave ребяташки... Третий раз в жизни приняла присягу.

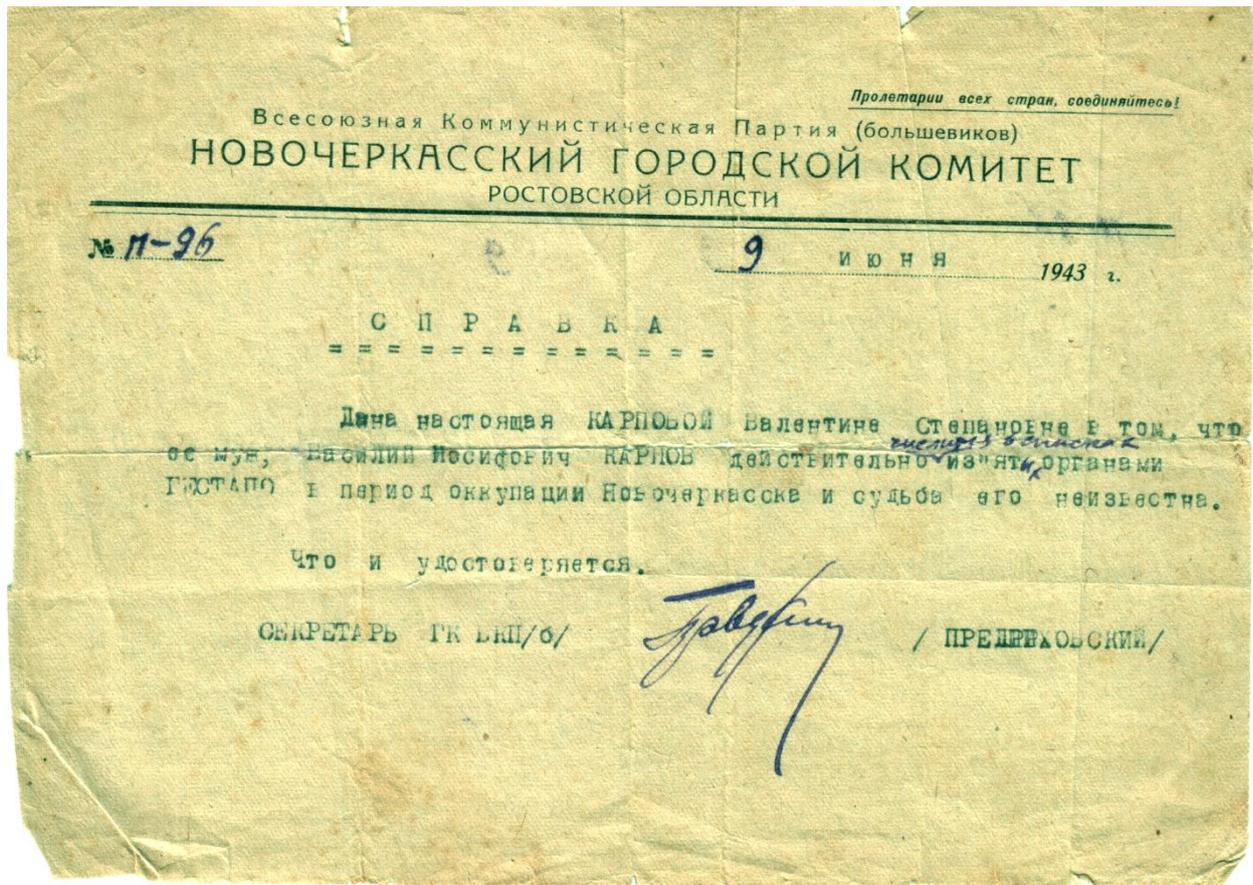
Наконец-то увидела Алёшу. Мои предположения оправдались. Мне он очень понравился. Я выходила из дома, где расположен третий взвод. Мимо по Кавказской шли два офицера. Вдруг один из них резко повернул в мою сторону, подошёл и представился. Так состоялось знакомство с Алёшей.

Была в музее. Там оформлена экспозиция «Зверства немцев в Новочеркасске». Есть портрет папы, надпись: зверски замучен и расстрелян. В горкоме ВКП(б) во всю стену висит список ответственных партийных и советских работников, замученных фашистами. Среди них тоже папа. И ещё один, хорошо знакомый — Кривопустенко, отец Пети Кривопустенко, моего одноклассника. А справку выдали — во время фашистской оккупации был изъят органами ГЕСТАПО (потом зачеркнули и поправили: вме-

<sup>25</sup> Сифилис мозга.

<sup>26</sup> Образца 1891 года.

сто «изъяты» написали «числится в списках изъятых»), и дальнейшая судьба его неизвестна.



Кривопустенко держали в Новочеркасске, и когда вскрывали могилы, опознали его по записке в кармане. Арестовали их с папой в один день — после встречи, но папу отправили в Ростов, убили его к седьмому ноября. При вскрытии могил опознать никого было невозможно, так они были обезображены пытками. А судьба всех попавших в ГЕСТАПО известна — никто ещё оттуда не вернулся. Неизвестно только, где точно зарыли в землю. А вот папиного брата Павла Иосифовича, сидевшего в Новочеркасском ГЕСТАПО в камере смертников, выпустил полицай. То ли выслужиться решил (наши были очень близко), то ли работал по заданию. Папа был настоящим коммунистом, он никого не выдал фашистам, сказал им, что предателем не станет. Ему специально дали свидание с мамой, чтобы она убедила его, что его жизнь в его собственных руках — так начальник полиции выразился. К фашистам попали в руки партийные архивы; им было известно всё до мельчайших подробностей, даже то, что во время революции он был избран на своём крейсере председателем революционно-судового комитета. Как он рвался на фронт! Лучше бы погиб в бою! Разве можно было в этом осином гнезде контрреволюции оставаться на подпольную работу! Но это от него не зависело.

У него спросили на допросе: «До каких пор он состоял в партии?» Он сказал: «А я и теперь состою – меня никто не исключал».



Освобождён Таганрог! Наконец-то! Миусс-фронт стоил не меньших жертв, чем Сталинград. Со дня на день мы должны покинуть Новочеркасск. Теперь уж с полным основанием можем петь:

*Мы снова покидаем наш родимый край,  
Не на восток — на запад мы идём  
К Днепровским кругам, к волнам пелюгим,  
Теперь и на Днепре наш дом!*



Мы в Донбассе. Станция Дебальцево. Люди приветствуют нас. Запомнились два деда: с бородами, они стояли на обочине и кланялись нам в пояс, когда мы проезжали мимо. Сколько я ни оглядывалась, пока их видел глаз, они не переставали кланяться.

Наша рота полностью в Дебальцево. У меня ужасное настроение — я просто, наверное, ещё не вписалась в роту, какое-то инородное тело. И отношение ко мне несерьёзное, хотя никакого повода с моей стороны не было, у меня со всеми ровные деловые отношения, никаких симпатий и антипатий я не проявляю, всё держу при себе. Вчера мне просто негде было ночевать. Я до поздней ночи обходила больных и попросила Гаранина найти мне квартиру. Он нашёл, но её занял старшина, а мне сказал, что будем жить вместе. Пригласил к себе Тарасов — условия такие же. Было уже темно, я села на скамеечке у колодца и нарevelась вдоволь. Это начало, что же будет дальше? Меня застал Сапожников и уговорил идти к нему во взвод. Они расположились в большом доме: весь взвод вместе, а в смежной комнате Сапожников, Литвинко, Федорищев, Звездин на полу, а кровати уступают мне. Мне ничего не оставалось делать, и я пошла к ним. Уснула мгновенно. Проснулась от какого-то сопения. Шёпотом окликнула — думала, дежурный по роте пришел поднимать на пробу — но никто не ответил. А сопение продолжалось. Поднимать шум стыдно, и я решила не заниматься выяснением личности, действовать молча. Немного приподнялась и двумя кулаками вместе стукнула, что было силы, в темноту — и оказалось, очень удачно. Этот «кто-то», не ожидавший активных действий с моей стороны, свалился на стул, на котором лежала моя одежда и вместе со стулом упал на спящих на полу. Поднялся крик, шум, весь взвод вскочил как по тревоге. Точно — до утра уже никто не мог уснуть. Всё выяснилось, хотя я ничего не сказала. Оказывается, «вылазку» решил сделать

Звездин, он повредил себе рёбра. Ему говорят: сходи к Лене, она ещё тебя подлечит! Идиот несчастный, на что же он рассчитывал? Было бы это что-то более или менее стоящее, я бы не молчала, а у этого можно только спросить, как говорит старший техник-лейтенант Гиляров, где ты был, когда бог мозги раздавал? И в голову никогда бы не пришло ждать такой активности с его стороны. А я вспомнила «сталинского сокола», который проявив «доброту», предложил мне укрыться от дождя в самолёте, стоящем на платформе товарняка. Я, ничего не подозревая, устроилась там и уснула, хотя теснота ужасная — одноместный истребитель. И вдруг «хозяин» свалился сверху. Я стала просить его по-хорошему, сказала, что у меня якобы жених есть, но ему наплевать было на мои убеждения и на всех женихов вместе взятых. И тогда я, что было силы, вцепилась ему в морду своим маникюром, сделанным в первый раз в жизни. И, видно, попала в глаз — он вскрикнул и схватился за лицо, а я вывалилась на крыло. Тогда он выхватил у меня из кармана военного платья (карманы были очень мелкие и без застёжки) комсомольский билет (дубликат получила в Новочеркасске) и красноармейскую книжку и сказал, что выбросит их с поезда, если я не вернусь в самолёт. Я сказала, что может заодно и меня сбросить, но я ни за что никуда не пойду. Он запросто мог выполнить свою угрозу, ночь была непроглядная, поезд мчался с бешеной скоростью, человеческая жизнь ничего не стоила. Ливень лил, как в тропиках, от холода и волнения меня колотил такой озноб, что я боялась и без посторонней помощи свалиться с крыла (под крылом места на платформе не было), но я стойко продержалась до утра. Утром, увидев его рожу, я испугалась, но он ещё принёс мне полную фуражку абрикос. Ну, ничего, если жив будет — будет помнить! И что же тогда говорить о немцах?



Вот и вышли мы к Днепровским кручам, к волнам певучим. Чуден он не только при тихой погоде, он чуден в любое время. Я смотрела потрясённая. Но это же не только река, столькими воспетая, в данном случае это величайшая водная преграда. Не укладывается в голове — как можно было её преодолеть?

Переправились у Днепродзержинска, переправа из пустых бочек. Я поскользнулась на мокрых брёвнах и «выкупалась» в Днепре, к счастью, там уже было мелко.

Здесь был наш плацдарм, весь берег усеян осколками, как галькой. Сколько жизней это стоило!

Фрицы настолько капитально обосновались, даже хода сообщений в полный рост, и стенки оплетены ивовыми прутьями, чтобы земля не осыпалась. Остановились на разъезде Широкое. Чем только хозяйка нас не угощала! Даже вкус забыли всего этого — настоящий украинский борщ, вареники и т.д. и т.п. Я снимаю только пробу, а на котловом довольствии состою у хозяйки.



Рота не полностью будет в Днепропетровске, а батальон в Нижне-Днепровске. Наша задача — мост через Днепр (1125 метров). Нашей третьей мостовой предстоит поставить две опоры из пятидесяти трёх. Сваи забивать приходится на большой глубине. Работают днём и ночью, но ночью мешает бомбёжка, вернее, мешала вначале. Все уходили в щели, потом перестали. Налетают почти непрерывно, но это не сорок первый и не сорок второй годы. Зенитки открывают такой бешеный огонь — всё небо расчерчено разноцветными трассами пуль и снарядов, гигантский светящийся шатёр. Мне это напоминает Москву сорок первого года с той разницей, что самолётов в Москве были сотни, а здесь единицы. Бомбы сбрасывают беспорядочно, попаданий очень мало, и почти все — в находящийся рядом с нами старый разрушенный фашистами мост, который в это же самое время рвут наши минёры. Всё грохочет, трудно что-нибудь понять. Кончается бомбёжка, и 17-й тяжёлый понтонный железнодорожный полк начинает пропускать составы. Однажды я шла по этому мосту в Нижне-Днепровск, и пошёл эшелон с танками. Понтоны качались, как качели — казалось, ещё мгновение, и они уйдут под воду. По мосту никого не пускают, всем желающим попасть на мост дежурный по КПП офицер объясняет двумя словами: «Только генералитет!»

Моя санитарная сумка — как пропуск.



Приезжал майор Цветков, сказал, что меня представили к «Отваге».



Я заболела. Несколько дней температура за сорок, диагноз: брюшной тиф. Капитан направил меня в госпиталь, и там поставили этот диагноз. Приехал майор Цветков, забрал меня в санчасть батальона. И вот я в санчасти, брюшного тифа у меня не оказалось, но температура держится высокая. Аппетит страшный после голодания, ем две порции из солдатской и офицерской столовой, и ещё старшина кое-что передаёт. Кузьма Фёдорович заставляет перед обедом пить 50,0 ликёра.

Узнали очень неприятную новость — Кузьма Фёдорович уходит в бригаду. Голожинский пошёл на повышение. У нас временно будет М.Я., она сейчас болеет, лежит вместе со мной в санчасти. Все очень переживают. Мы просим, если можно, ставить начальником Антонину Александровну. Это золотой человек. Её заботу обо мне я никогда не забуду. Я так привязалась к ней за последнее время, что вот сейчас она уехала со второй ротой, и я очень тоскую по ней, жду хоть какой-нибудь весточки от неё. Мне предлагают остаться в санчасти совсем, но я хочу в роту. Капитан наш лучше всех командиров в батальоне, и я по доброй воле никогда не уйду от него.



Ушёл Кузьма Фёдорович, и я ушла из санчасти, никому ничего не сказав. Сказала капитану, что буду работать и в санчасть больше не пойду. Вызывал майор Цветков и запретил мне работать. Поругалась с М.Я. и с Тамарой. М.Я. очень неприятный человек и мерзкая женщина, и это при всём при том, что в батальоне служит её муж. Тамаре я объявила войну, терпеть её фокусы больше не буду. Ведь в том, что я заболела, виновата она. На мосту я была и дни, и ночи без смены, спала сидя у бочки, а она занималась амурными делами. Да ещё нажаловалась на меня Кузьме Фёдоровичу, и он сказал мне, что разлучит нас. Я сообщила капитану, и он ответил, что никуда меня не отпустит, пусть берут её. А если всё-таки останемся вместе в роте, чёрт с ней, я буду плевать на неё.



Погода отвратительная, мои дела не лучше, всё время держится высокая температура. Приезжал майор Безрук, забрал с собой, отвёз на склад, и там меня утеплили — ватные брюки, меховую телогрейку и т.д. Капитан подарил мне замечательные меховые рукавички. Я еле передвигаюсь, и всё равно знобит. Алёшу избегаю, стараюсь его не видеть и не говорить с ним. Ему, наверное, это кажется странным, а может, он и внимания не обращает. А у меня для такого поведения есть достаточно веские основания, и никому я о них сказать не могу.



Мы уезжаем в Запорожскую область. Я еду со вторым взводом, Вера с третьим. Если посмотреть на моё поведение со стороны по отношению к Алёше, то это поведение иначе как идиотским не назовёшь. Он в недоумении, но не могу же я ему сказать, что я его просто боюсь, боюсь, что это и будет самая настоящая любовь не в облаках, а на земле без всякого номера. Боюсь, что свою первую любовь — такую мимолётную — я просто придумала (есть у меня склонность к идеализации). Она нужна была мне как защита от этой страшной войны, она согревала душу, она помогала быть сильной. Да и Сашу ведь я совсем не знаю, я видела его мгновение. Одно только знаю точно, что он умница и за чужую спину прятаться не будет. Он пишет очень часто, иной день по несколько писем. 15 февраля ему исполняется 21 год, он командует стрелковым батальоном. Совсем недавно письмо было из Пятихатки. Мне кажется, что ему не чужды такие понятия как тщеславие, честолюбие. Может быть, я даю не совсем точное определение, но в письмах проскальзывает такое, что мне не нравится. Саша Шустов тоже пишет часто, он получил майора, командует по-прежнему своим отдельным миномётным батальоном, награждён орденом Александра Невского. Прекрасный он парень, так хочется, чтобы судьба послала ему достойную подругу, уж он-то это заслужил. А самое главное — пусть будут живы.



Война всё спишет — четвёртый год многие живут под этим девизом. Мне говорят, что я ничего не понимаю, не знаю жизни. У каждого свои понятия об этом. Говорят, что на войне, случается, и гибнут. Но ведь может случиться, что и жить останешься, и даже больше того — когда-то замуж выходить придётся. Как же тогда посмотришь в глаза своему мужу? Что ему скажешь? Я очень хорошо понимаю, что четвёртый год война стала бытом. Но должно же быть хоть малейшее представление о чести, совести, долге! Вера — жена, мать, педагог, и не какие-нибудь там «пестики и тычинки», историю преподавала, мировоззрение у людей воспитывала — пытается оправдаться тем, что нет никаких известий о муже. Но может быть, что он и не погиб. А если и погиб, так быстро предать память о нём! А «избранники» кто? Был Скоков, помстаршины, снабжал продуктами (да я бы подавилась ими!). А теперь ещё лучше — Ванька Авдюшкин (это даже окружающим кажется нелепостью; Алёша мне говорит, что, мол, до чего у нас дошли — пустили такую сплетню, что у Веры связь с Авдюшкиным). Я у неё спросила, как же она может? Она мне ответила, что закроет глаза и думает, что это Павел — её муж.

Вот, оказывается, как нужно жить — с закрытыми глазами. Тамара ничем не отличается в этом плане от Веры. Моё счастье, что я очень устаю и сплю как убитая, не являюсь свидетелем всего этого. А недавно и в свидетели попала. Вечером у Тарасова был приступ малярии,  $t^{\circ}+40$ . рано утром, ещё не рассвело, пошла посмотреть больных, чтобы доложить капитану. Прихожу к Тарасову и ничего не могу понять — на том месте, где он лежал, лежит какая-то ужасно толстая тётка чуть ли не в костюме Евы. Я только хотела открыть рот и вдруг увидела, что здесь же на кровати у стены присутствует Тарасов, он съёжился весь и по сравнению с тёткой выглядел каким-то жалким щенком. Я пулей вылетела из этой хаты, мне было так стыдно, будто бы я совершила преступление. Сказала капитану, что обходить больных офицеров больше не буду, пусть являются ко мне.

Зачем я всё это пишу? Неужели потом интересно читать будет? Тошнит от всего этого.



Не теряю времени. Солдаты мне приволокли учебники за мед.училище. освоила фармакологию, хирургию, терапию и т.д. Гинекологию терпеть не могу. Фармакология затруднений никаких не вызвала — немецкий сходен с латынью. Теперь свободно выписываю любой рецепт. Двум солдатам поставила D-s пневмония, направила в госпиталь — подтвердился.



Ехала со вторым взводом, а направили с первым в Пологи. Пологи сильно разбиты, там скопилось большое количество немецкой техники, и наши с воздуха так размолотили, что смотреть страшно, особенно станцию

и прилегающий к ней район. Не меньше десятка искорёженных, разбросанных взрывами эшелонов.

Взвод будет нести караульную службу — охранять громадный склад трофейной взрывчатки. Жить негде, взвод живёт в землянке такой ужасной — как нора. Мне пришлось переселить себя и пойти на квартиру к Тарасову. Я всё ещё с высокой температурой и в землянке совсем дойду. Тарасов взялся меня лечить сам. Заставляет выпить 4 таблетки акрихина и полстакана самогонки. После этого наваливают на меня шинели, телогрейки и т.д. После трёх сеансов температура упала. И ещё он обеспечил прекрасное питание. Поскольку взвод несёт только караульную службу, он взялся восстанавливать молзавод. Продукция пошла очень быстро — сливки, масло. Вместо воды мы пьём сливки. Пойду снимать пробу — всё буквально плавает в масле, все довольны, а то на третьей норме совсем затосковали. Солдат не обидел, и сам нажился — хозяйка продавала масло, а цены на него фантастические.

Погода отвратительная — метель метёт непрерывно, очень холодно. Ходить по улице невозможно — утопаешь в снегу. Сначала я ужасно тосковала, безделье убивало. Потом решила заняться просветительской деятельностью — стала читать стихи солдатам, слушали с удовольствием, просили ещё и ещё. Прочитала «Русские женщины» Некрасова, пришлось рассказывать о декабристах, они и понятия ни о чём не имели. И ещё отоспалась за всю войну. Тарасов развлекает игрой на гитаре. И даже в любви объяснился. Господи! Да что он в этом понимает?

Когда-то я читала письмо Инессы Арманд дочери, и там она писала о любви, я согласна была с нею на 100%. Она писала, что есть люди, которые чувствуют себя в любви как дикари. Вступают в брак или развратничают, но любят или любили очень *немногие*. И таких дикарей *большинство*. А уж Тарасов — совершеннейший дикарь. Развратничает, не раздумывая и не пытаясь это как-то «опозитизировать». В эти дни вроде бы «остепенился», никуда не ходит, за исключением проверки часовых. Стал, как он говорит, глядя на меня «идеальным человеком». Свежо предание, да верится с трудом. Хозяин наш так замечательно играет на гитаре, а я за серьёзный инструмент её не принимала.



Вчера чуть не подралась с Тарасовым. Никого не было в комнате, я писала дневник, увлеклась и не заметила, как он подкрался и выхватил его у меня. Отнять в комнате не удалось, он выбежал на улицу. Надо было видеть, как я вцепилась в его гимнастёрку, упала, и он волочил меня по снегу целый двор. А дневник всё-таки не отдал, убежал куда-то раздетый и там прочитал его. Теперь целыми днями острит по этому поводу. Я не страдаю, что он прочитал о себе — пусть знает, а вот о других не хотелось бы. И ещё вздумал ревновать меня, как будто бы я имею к нему какое-то отношение. Уж для него-то я всегда буду только санинструктором и не больше!

Да и сообщения ординарца Тарасова не уступят знаменитому Лепорелло. Только вот насчёт наций и рангов возможности ограничены.



Сегодня приезжали капитан и Тамара, которая чуть ли не на задних лапах ходит передо мной. С чего бы это? Говорит, что со всеми перессори-лась в роте. Не разговаривает с Белянкиным и Зайцевым. Она мне сказала, что Алёша ждёт моего приезда, что он говорит: «Лена — настоящая советская девушка» — и ещё что-то в этом духе. Капитан пригласил на 8 Марта в роту, а мне не хочется снова вместе быть с «подружками». Тарасов не хочет меня отпускать, говорит, что я поеду к Сергееву. А этот дурак совсем обалдел, шлёт послания, объяснения в любви. «Новочеркасск-Донбасс — все чувства были для вас». Я ему уже десять раз говорила, что-бы он оставил меня в покое.



Писать не хочется, боюсь, что задним числом краснеть придётся, читая эти заметочки. Была в роте, встретили очень хорошо, Вера была искренне рада моему приезду. Снова жалобы на Тамару. Испекли два замечательных «наполеона». Тамара продолжает «дружбу» со старшиной, Вера — с Ванькой Авдюшкиным. Они мне почему-то без всяких объяснений запретили разговаривать с Алёшей. Мне плевать, конечно, на все их запреты, но меня убивает это нахальство — нашлись опекунши. Алёшу я увидела на мосту, он был очень рад встрече. Он мне сказал, что нам необходимо поговорить наедине. Но поговорить не пришлось, помешали. Вечером танцевала с ним, но неудобно было спросить — что же он хотел сказать. Тамара ведёт себя просто нагло, тащила Алёшу танцевать, он не хотел. Испортила мне окончательно настроение и ушла. Не знаю, чем всё это объяснить, может быть, завистью. Ночью со связным Комосой я уехала в Пологи.

Недаром Алёша сказал днём, когда я говорила ему об идеальности Тарасова, что идеальным он будет, когда в четыре доски ляжет. Теперь-то я уж полностью с ним согласна. Я была готова провалиться сквозь землю. Писать об этом больше не хочу, не желаю больше пачкать страницы.

Я всё больше убеждаюсь, что у большинства людей скотские инстинкты берут верх. Я ушла в землянку к солдатам, но долго там не была, меня нашла хозяйка и поселила к своим родственникам. Очень у них тесно, крохотная комнатка, но в тесноте, да не в обиде.

Хозяйка рассказала, что во время оккупации у неё на квартире была женщина, бывшая наша лётчица, предательница. В начале войны летала бомбить Берлин, но была сбита, попала в плен и перешла на сторону фашистов, предала Родину и стала служить в СС. В Пологах были захвачены наши парашютисты, она расстреливала их сама. К нашим пленным относилась хуже, чем сами фашисты. У немцев пользовалась «успехом» во всех отношениях. На «приём» к ней шли чуть ли не строем. Сбежала вместе с

фашистами. А вчера вечером явилась какая-то женщина очень красивая, но неприятная. Поговорила с девочкой, я не прислушивалась, ушла. Когда вернулась, девочка мне сказала, что это эсэсовка. Я помчалась к капитану Котову, нашему «СМЕРШ» (он приехал в Пологи) и всё рассказала. Её задержали. Сегодня приводили к хозяйке на очную ставку, она вела себя ужасно нагло, я вышла, не могла видеть эту мразь. Я много видела пленных фрицев в сорок первом году, но она переплюнула всех. Большинство из них ненависть свою при себе держали, а эта тварь истерику устроила.



Позже Котов мне сказал, что её судил трибунал и расстреляли.



Мы в Николаевской области. Наступает весна, апрель месяц. Погода стоит чудная, всё ожило. Как поют соловьи — передать невозможно, нужно услышать. Я лично услышала первый раз в жизни. А сегодня на зелёной лужайке играл наш джаз. Пришли Цветков и Зырянов. Я сидела с Алёшей и Белянкиным, слушали музыку. Джаз наш — профессиональные музыканты, играют прекрасно, начинают всегда с «Вальса цветов» из «Щелкунчика». Мы провальсировали с Алёшей, но явились эти две ведьмы, и джаз уже слушать не хотелось.



Пишу очень редко. Я не перестаю восхищаться нашим капитаном. Не только мои «подружки» разобрались в обстановке, понял и капитан. Но, в отличие от них, сказал, чтобы мне далеко не ходить, живи со вторым взводом. И вот я теперь в 7 км от роты. Алёша проявил максимум внимания, нашёл самую лучшую квартиру и т.д. Я просто удивлена, целый день не отходил от меня. Вечером затащил к себе на ужин и чай, после чего проводил меня домой и у меня ещё сидел часа два в обществе моих хозяек. Я не ждала этого. Такие чудесные вечера. Это девятнадцатая весна в моей жизни, но всё её очарование, не передаваемое никакими описаниями, я ощутила впервые. Думаю, что другой такой весны в моей жизни не будет — это неповторимо. Никогда не забуду Белую Криницу.



Пришёл Комоса и сказал, что Тамару откомандировали, и капитан вызывает меня в роту. Алёша не хочет отпускать меня, а я не хочу с ним расставаться, но приказ есть приказ.



Я в роте. В роту вернулся Сабир Бикташев. Он добровольно был в партизанском отряде. Ночью на мосту рассказывал, как подрывали эшелоны, брали штаб и т.д. Все, кто мог, слушали с открытыми ртами. Капитан сказал, что он представлен к Герою.

Мы стоим в Твердомёдове. Сегодня осталась с Алёшей подрывать. Клали стограммовые толовые шашечки пояском поперёк балки. Алёша вставлял запал, зажигал шнур, и мы что было силы мчались вниз. Один раз, несмотря на то, что я низко скатилась, меня чуть не придавила глыба земли. Подрывали часов до десяти. Очень устали. Домой шли — уже было совсем темно. Алёша ещё не был в деревне, а я хоть и была, но завела чёрт знает куда. Потом всё-таки сориентировались и вышли к деревне. На окраине встретили Тарасова, он узнал Алёшу и подозвал его. Я подошла вместе с ним. Тарасов, видно, не ожидал увидеть меня с Алёшей и стоял, будто громом поражённый. Что выражало лицо его в эту минуту — описывать не буду. Он молчал, потом изрёк:

— Елена Васильевна, так вот Вы как?!

— Как видите, — ответила я, и мы пошли. Алёша спросил, как я смотрю на это? Я пожала плечами:

— Да никак я не смотрю.

— Неужели ты ничего не заметила? Мне кажется, что он очень близкий твой друг...

Да неужели же с таким, как Тарасов, у меня может быть что-нибудь близкое? Не знает меня Алёша, совсем не знает...



Друг — это слово в войну говорит о многом. Друг на фронте — это самый близкий, самый дорогой на земле человек. Таким человеком стал для меня Алёша. Мне уж теперь и не верится, да как же я могла жить без него раньше?

Алёша просит, чтобы я прекратила переписку с Сашей, но я не могу этого сделать, я считаю, что ему и Саше Шустову должна писать до последнего дня войны. Нет у меня права отказать им в этом, они оба в самом пекле.



Какой замечательный у нас капитан, он знает о нашей дружбе и не подаёт вида. Вчера вечером мы втроём гуляли — Алёша, Белянкин и я. Подошёл капитан — был уже двенадцатый час ночи, — мы долго стояли шутили, смеялись, старший лейтенант заметил вскользь, что я стесняюсь капитана, и он убежал. Ушёл и Белянкин. Долго мы стояли обнявшись молча, слова были не нужны. Мне кажется, что большего счастья быть не может.



Мы почти не расстаёмся. Сейчас я пишу вот эти строчки на берегу Ингульца. Красивое место — обрывистый берег, рядом Карнаватская плотина и водопад. Алёша лежит на травке, он, кажется, уснул. Мы мечтали с ним, как будем жить летом, купаться в Ингульце и т.д. у нас полное взаимопонимание. Он говорит мне, что у него какое-то предчувствие, что мы

обязательно поженимся, иначе быть не может. Говорит, что не намерен ждать конца войны, называет меня уже Еленой Васильевной Зайцевой. Я посмеиваюсь, а он сердится.

Мне кажется, о женитьбе он думает потому, что верит мне, думает, что я люблю его и буду идеальной женой — верной и честной, как он говорит. А это для него самое главное, он мне очень много говорит об этом, на этот счёт у него целая философия. Я и в этом разделяю его взгляды целиком и полностью. Для меня эталоном женщины являются жёны декабристов, те одиннадцать, которые поехали за своими мужьями в Сибирь на каторгу. И прав Алёша, жена должна быть вне подозрений не только у Цезаря. Я вспомнила князя Андрея, он говорил о том, что, в принципе, падшую женщину можно простить, но он этого сделать не может. Это не дословно, но что-то в этом духе. Не знаю, как мужчину, но женщину я бы тоже не простила. Женщина ведь ещё и мать, поэтому и требования к ней более высокие.

Долго спит Алёша и не видит, что я пишу, он и не подозревает об этом. Пусть потом будет ему сюрпризом. Хоть и не знаю, как он к этому отнесётся, у меня нет никаких тайн от него, вот только дневник до сих пор не решаюсь показать.



Недавно мне пришлось совершить марш-бросок в 52 км. Была в бригаде на слёте комсоргов подразделений. Закончился слёт, прибыла обратно, а за это время рота передислоцировалась в Снигирёвку. И пришлось мне совершать передислокацию самой, в единственном числе, совершенно не зная дороги. Когда солнце стало в зените, решила сделать привал. Сняла сапоги (они из плащ-палатки и тесноваты), разложила портянки и прилегла на травку. Успела только взглянуть на бездонное небо и отключилась. Проснулась от каких-то звуков. Невдалеке на бугорке стояли мои сапоги, а по дороге удалялись какие-то солдаты. Хорошо, что совсем не унесли.

Решила больше не отдыхать. Прибыла в Снигирёвку, когда было уже совсем темно, подошла к мосту и увидела наших. Алёша бросился ко мне, обнял крепко, прижал к себе: «Сержантик мой дорогой!»

Я так была рада, как будто не видела его целую вечность. Устала ужасно, еле стащили сапоги — портянки были все в крови. Неделю после не могла надеть сапоги. Сидела с перевязанными ногами. Лида Лебедева подарила мне шинель-пальто, её носят без ремня с поясом, который пришит к ней. Ночью я сижу на мосту, на балках и сплю сидя. Удивляюсь сама, как ни разу не свалилась в воду. Мне снова нет смены. Кругом стук, грохот, а я всё равно сплю. Солдаты решили надо мной подшутить — концы незастёгнутого пояса прибили гвоздями и рявкнули: «ВОЗДУХ!!!» Я и не подумала проснуться, когда меня прибивали гвоздями, но на «ВОЗДУХ!!!» прореагировала мгновенно — попыталась вскочить, но не тут-то было: гвозди держали крепко. Окружающие были в восторге — чуть в воду от хохота не попадали. А мне было не до смеха. На такие «шуточ-

ки» способен только третий взвод — Серёжка Шишков, Федорищев. Там таких «умников» хватает. Но никто не признался.

Путешествовать одной мне приходилось не один раз. Перед Снигирёвкой рота ушла ночью, а меня «забыли». Капитан приказал «ротному Геббельсу» Уляшину разбудить меня, и никто не предупредил, что возможен такой вариант.

Я поднялась, ещё было темно, пошла снимать пробу, а кухни не обнаружила, и пришлось мне догонять роту. Волновалась ужасно, думала, что у меня уже начались зрительные галлюцинации — увидела впереди белый снег, но подошла поближе, и снег оказался белым песком. Только во второй половине дня увидела на горизонте длинную тощую фигуру, размахивающую руками, и рядом — маленькую. Нетрудно было догадаться, что это Сапожников и Федорищев. К счастью, они сделали привал, и я их догнала. Это было чистой случайностью, я ведь могла пойти в противоположном направлении.

Пошла полоса невезения, в бригаду забрали Алёшу заместителем начальника политотдела по Комсомолу. Я совсем затосковала. А сегодня вечером примчался ординарец Тарасова, сказал, что тот заболел и просит прийти. Я пошла с санитарной сумкой, вхожу в квартиру и вдруг... навстречу мне поднимается Алёша! Господи! Как я была рада! Долго гуляли мы с ним в этот вечер, о чём только не говорили... А когда уходил, было такое горькое чувство потери, ведь его уже не будет рядом.



Утром меня вызвали в штаб. Там я узнала, что меня переводят во вторую роту. Командир роты Томилин не смог ужиться ни с кем из медиков и потребовал меня к себе. Уж этого я никак не ждала — Алёшу забрали, да ещё с ротой хотят разлучить. Всё это как снег на голову. А приказ уже подписан. Всем кажется, что я спокойная, выдержанная, но вот уж если надо, то я забуду об этом. Приняла решение — во вторую роту не ходить, скорее штрафная, чем вторая. Будь что будет. На всякий случай подготовила морфий, разрабатываю план отравления, Петька Соболев посвящён в заговор. Вот он-то и выдал меня с головой капитану. Я пришла к нему и так разревелась, что он испугался. Он при мне стал звонить Зырянову. Тот говорит, что приказ есть приказ. Я попросила трубку и сказала ему — что такое приказ я знаю, я в армии четвёртый год, но этому приказу не подчинюсь, пусть отправляют в штрафную. В армии медик прежде всего должен знать людей, тогда и с диагнозами легче будет разобраться, ведь и симулянты могут голову морочить. Он мне ничего не сказал, положил трубку. На моё счастье явился Кузьма Фёдорович. Я бросилась к нему, повисла у него на шее. Он сказал, чтобы я успокоилась и оставалась в третьей роте. Такими родными показались мне все офицеры — все хором просили, чтобы меня оставили.



Сегодня на Карнаватке утонул мальчик. Прибежали солдаты, притащили его мне — безжизненное посиневшее тельце. Я положила его на колени головой вниз и стала сдавливать ему грудную клетку. Сначала безрезультатно, а потом вода хлынула фонтаном из носа и рта. Билась я с ним часа два — искусственное дыхание, сердечные... и мальчик задышал. До вечера я от него не отходила, пока не убедилась, что всё восстановилось, и мальчик будет жить.



Ночь просидела на плотине, а днём уйти не могла, Фирсов не явился — новый фельдшер, вместо Тамары, но ничем не лучше её — пьяница и бабник, без конца где-то пропадает. Я положила под голову шинели и санитарную сумку, и, полусидя, уснула на песочке. Во сне увидела, что будто бы у меня под гимнастёркой змея, и я её схватила. Но змея сильно билась, и я, не выпуская её из рук, стала кричать. От крика проснулась и пришла в ещё больший ужас — у меня под рукой действительно что-то билось. Я так орала, что сбежалась вся рота. Окружили меня, видят, что под рукой что-то бьётся, а что делать — никто не знает. Выход нашёл Тарасов — я должна была не отпускать её и стараться продвинуть как можно ниже, а он постарается её схватить. В общем, он её всё-таки схватил и выдернул — это была громадная песчаная ящерица. А я неделю говорила шёпотом.



Вот и настало время расстаться с Кривым Рогом. Прощай, 3-й Украинский, прощай, Кривой Рог, воспоминания о котором никогда не сотрутся в своей памяти. Куда едем — тайна за семью печатями.



Об Алёше ничего не знаю. Уже больше двух недель в эшелоне. У меня развилась такая депрессия, что я ничего не могу поделать — слёзы льются в три ручья. Я никогда не была плаксивой и терпеть таких не могу. Со мной уже разговаривали и Безрук, и Цветков, но я всё равно реву, наверно, и сам Верховный<sup>27</sup> на меня не подействует. Почти ни с кем не разговариваю и видеть никого не могу. Все приглашали в свой вагон, но только без Веры. Еду со вторым взводом. Тарасов говорит, что мне по штату положено быть здесь. Посмотрю на нового командира, и тошнить начинается. Несколько раз подходил ко мне Бикташев, он видит моё состояние, хочет помочь чем-нибудь и боится. Новый младший лейтенант мне

---

<sup>27</sup> Должность Верховного Главнокомандующего занимал маршал И.В.Сталин.

предлагает дружбу. Я хотела плюнуть ему в рожу, так разозлило всё это меня, все эти несчастные животные, что я снова ревела до полуночи. Пошла ложиться спать — моё место у пирамиды с оружием, потом лежит Вера, а дальше все остальные. Стала ложиться, и вдруг кто-то заключил меня в объятия, я подумала, что Вера нежностью воспылала, а это, оказывается, этот мерзавец не успокоился, лёг рядом с Верой на моё место и ждал, когда я приду. Я его так двинула, что на него посыпались автоматы. Села рядом с дневальным у открытой двери и ревела до утра. А дневальный Лихачёв, бедный, заика, волнуется и не может ничего вразумительного сказать, гладит меня по голове, пытается успокоить. Я вспомнила, когда он обращался к Алёше, пытаюсь выговорить «товарищ старший лейтенант», тот кричал ему: «Давай без титулов!»

А утром Лихачёв пошёл к капитану и всё рассказал. Потом старшина мне говорил, что и не знал о том, что капитан может так классически ругаться. Кричал на Кравченко и предупредил его, чтобы он не только прикоснуться ко мне не посмел, но и на пушечный выстрел не приближался, иначе пожалеет. Пришла Антонина Александровна, она меня не забывает, долго сидели с ней, а уходя, она сказала этому кретину: «Хороша Маша, да не наша!» Белянкин тоже дал ему по мозгам. Я и сама в состоянии себя защитить, просто бесит это скотское отношение.



Три недели в эшелоне, пишу стихи, ни с кем не разговариваю — только формально. Меня приняли кандидатом в члены ВКП(б).<sup>28</sup> Теперь на месте предстоит БПК.<sup>29</sup> Читаю историю ВКП(б), удивительно хорошо усваивается.<sup>30</sup> Проехали Курск, Белгород, Орёл, Тулу. Стоим в Серпухове. Сколько воспоминаний, связанных с сорок первым годом, нахлынуло в связи с этим! Здесь мы убежали из ПЭПа.<sup>31</sup> Олюшка уже не служит, она — мать, родила сына. Послала ей стихи. Столько писала, и всё не по душе, выбрасывала. Я их вообще выбрасываю, не держу при себе (хватит мне дневника), стыдно будет, если такая, с позволения сказать, «поэзия» кому-нибудь попадёт. Но это всё же решила ей послать и пишу в дневник:

*Ты помнишь, сестричка моя фронтовая,  
Ты помнишь, подружка моя боевая,*

---

<sup>28</sup> Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). Потом она стала называться КПСС.

<sup>29</sup> Батальонная партийная комиссия.

<sup>30</sup> История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Под редакцией комиссии ЦК ВКП(б). Ободрен ЦК ВКП(б). Государственное издательство политической литературы. 1938.

<sup>31</sup> ПЭП — полевой эвакуационный пункт.

Как шли в сорок первом в солдаты,  
Закончив всего лишь девятый?  
И сразу из детства — в грохочущий ад,  
Что Западным фронтом тогда назывался.  
В сто двадцать шестую. А нам медсанбат —  
Ты помнишь? — Нам фильмом ужасным казался.  
Мы в воздухе первый увидели бой:  
Шли с огненным шлейфом и земле самолёты  
Не с чёрным крестом, а с горящей звездой,  
Для «мессеров» были мишенью пилоты.  
Да разве мы можем с тобой забыть  
Бои под Москвою и Старую Руссу?  
И в братских могилах мальчишек безусых!  
Их столько пришлось нам с тобой хоронить...  
Мы их имена на фанере писали  
Осмызком, химическим карандашом —  
До лучших времён... — Они будут, мы знали! —  
И золотом люди напишут потом.  
Мы юности нашей не сможем забыть —  
Суровой, протезшей в солдатской шинели.  
Но если б всё снова пришлось повторить, —  
Шинель, не колеблясь, мы снова б надели.

**Операция «Багратион»** <sup>32</sup>

24 дня мы были в эшелоне, и вот прибыли в Белоруссию. Выгружаемся в Кричеве. Видно, здесь начнут лупить фрицев. Ведь это кратчайший путь был для них до Москвы, а для нас будет до Берлина.



Кричев, Быхов, Могилёв — какой ужас, что здесь творится, не поддается никакому описанию, нужно увидеть своими глазами, но лучше бы никогда не видеть этого.

Все смешалось — леса, болота, комары, партизаны, тысячами выходящие из лесов, немцы, власовцы, мины, сожжённые деревни, гарь, вонь, и трупы, трупы, трупы...

Тысячи трупов в серо-зелёных и чёрных мундирах. Ими буквально устлана земля — разбросанные, стянутые в кучи. Где есть небольшой клочок освобождённой от трупов земли, она густо полита кровью, от неё исходит тошнотворный запах, и ползают белые черви. Временами кажется, что это сон, жуткий, кошмарный, хочется проснуться, но трупы не уходят. Освобождено от них только шоссе.



Сегодня, в день выгрузки 23 июня при разминировании партизанских мин подорвались сержанты Гурский и Зайцев из минно-подрывного взвода. Мы услышали, что страшно рвануло, я побежала туда с сумкой, но взрыв был такой силы, что от них ничего не осталось. На дереве висел погон с тремя лычками. Сначала, когда они обнаружили мину, с ними вместе был солдат. К доске было прикреплено четырнадцать 400-граммовых толовых шашек, предназначалась она железнодорожному составу. Сержанты стали её разбирать, дело шло к концу, и солдат ушёл. Только он отошёл, и рвануло. Сделали им могилку в Дашковке у штаба.

В этот же день пропал без вести мой комсомолец младший сержант Андрей Кузьмин. Он был из моей 3-й роты.

А меня вместе с ними принимали в партию, и вот двоих уже нет. Остался Охрименко — повар нашей роты.



Вся наша рота спит в кювете. Больше негде — трупы и мины. А шоссе грохочет, утром не узнаём друг друга — чёрные как негры, так заносит пылью. Оружие не разрешают выпускать из рук, в лесу полно немцев и власовцев. Стоит такая жуткая концентрированная вонь, что, кажется, не выдержишь и задохнёшься.

---

<sup>32</sup> О названии операции, понятное дело, мы тогда и представления не имели.

На шоссе видела раздавленного танком человека. Вернее, человека как такового уже не было, его так расплющило, по нём столько проехало, что от него ничего не осталось, только кончики пальцев с ногтями по сторонам дороги виднеются из земли.



Столько мин кругом, что у нас начались галлюцинации – всё время слышится тиканье часов.



Я уезжаю в Осиповичи, Бобруйск, на Березину, Несяту, Свислочь.



Сделала открытие, что у нас в батальоне Тамара Бацутенко, и что самое интересное – она жена Николая Ивановича Ковалёва.



Стоим в Бобруйске. Здесь большой лагерь военнопленных. С каждым часом число их увеличивается. Окружённая бобруйская группировка немцев постепенно уничтожается и берётся в плен. По дороге без часовых тысячи немцев идут сами — солдаты и офицеры. Где ж их прежний блеск и величие?

Какая же пропасть между советскими солдатами и фашистами. Они своих ослабевших, отставших бросают на дороге, и в голову никому не приходит помочь им. Я шла навстречу этой колонне пленных, прошли они мимо, вид у них далеко не тот, что был в 41-м году. Один фриц ослабел и лёг на обочине — не может идти, у него из ушей течёт, они его бросили, а кто-то из наших солдат положил перед ним полбулки хлеба и несколько стеблей зелёного лука.

Мы с Надей ходили в лагерь, разговаривали с фрицами. Двадцать шестого года рождения, совсем ещё зелёные. «Разговаривали» – это, конечно, громко сказано. Есть какой-то запас слов, но разговорная речь оставляет желать лучшего. Но это нам не помешало, мы прекрасно поняли, что они рады, что остались в живых — Гитлер капут. Теперь будут притворяться, что всю жизнь об этом мечтали.



В ближайшей от нас деревне фашисты убили всех жителей. Уцелела годовалая девочка, но у неё прострелены обе ручки (верхняя треть плеча). Я делаю ей перевязки, ранки очень нехорошие, её бы положить в госпиталь. Носит её ко мне старушка, которая тоже спаслась совершенно случайно. Была в лесу, собирала ягоды, услышала автоматные очереди, думала, что кур пришли бить. А когда вошла в деревню, увидела, что всех до единого жителей убили. Живой осталась только эта девочка с простреленными ручками. Старушка рассказывала, что в некоторых деревнях эсэсовцы брали грудных младенцев, ломали о колени им позвоночник и

бросали в колодец. Звери — и те не мучают жертву, убивают сразу. С кем же их можно сравнить? Вот поэтому нас радуют эти горы трупов, язык не поворачивается назвать их людьми.



Приехали в Осиповичи. До Минска остаётся 50 км. Бог ты мой! Что же здесь творится! Всё шоссе от Бобруйска до Осиповичи (вернее его обочины) уложено дохлыми фрицами из бобруйской группировки. Стоит жара, они уже начали разлагаться. Дышать совершенно нечем. Ночью немцы устроили налёт на станцию, но наша артиллерия часть уничтожила и разогнала, часть взяли в плен наши солдаты. Майоры Безрук и Цветков всё время с нами, они тоже вооружились автоматами. Завтра переезжаем на Березину. Немцы не оставили попыток захватить станцию. Тысячи сдаются в плен.



Приехали на Березину. Красивая, тихая, задумчивая река, но берега её осквернены трупами проклятых фашистов. Сотни плывут вниз по реке. Особенно много их в районе моста. На небольшом участке (примерно 25 на 25 м) их более трёх тысяч трупов. Я сама их считала. Не верится, что столько можно уложить на таком клочке земли. Они лежат кучами по 10–15 штук. Отборные СС, чистокровные арийцы, они не хотели сдаваться в плен и решили пробиться из окружения.<sup>33</sup>

Рядом с мостом посёлок «Октябрь». Ворвавшись в посёлок, эти сволочи стали расстреливать всё мужское население, начиная с пятнадцати лет. Там и были только подростки, и то немного, да старики, они их всех уложили. Живут в посёлке в основном поляки, и это первое место на земле Белоруссии, где к нам особых симпатий не проявляют, хотя немцы их и не пощадили.



Мост сохранился почти полностью, сгорели только деревянные строения. Его охраняла рота наших солдат, на неё-то и наткнулись фаши-

<sup>33</sup> Вот что в 1985 году, через 40 лет после Победы напишет Н.Яковлев в своей книге «Маршал Жуков»:

«...наша освобождённая земля носила следы фашистских злодеяний. В Белоруссии они убили два миллиона двести тысяч мирных жителей и военнопленных. Уничтожили целиком или частично 209 городов и районных центров, 9200 сёл и деревень.

Генерал Горбатов, подъезжая к ж/д мосту через Березину, был потрясён: на поле более трёх тысяч вражеских трупов. Здесь безуспешно пыталась прорваться очередная орда окружённых и попала под огонь счетверённых зенитных пулемётов нашей охраны моста.

«Мне вспомнилось, — писал Горбатов — старинное выражение «трупы врагов пахнут хорошо», и я изменил маршрут двум дивизиям второго эшелона, которые направлялись к наведённому мосту у местечка Свислочь, чтобы они прошли через ж/д мост и посмотрели на работу своих товарищей из первого эшелона. Пройденные ими лишние шесть километров окупятся в будущем, думал я».

сты. Рота полегла почти полностью, вот уж действительно насмерть стояли, но мост спасли. И ещё на насыпи шесть сгоревших наших Т-34, люки не открываются, видно, там погибли и экипажи.

Нам нужно разминировать и восстановить мост. Полдня мы ползали со старшиной, искали место для кухни (трупы растаскивать некогда и некому). Показалось, что нашли всё-таки, но тут же рядом лежат три громадных СС, и у одного из них, среднего, кинжал между лопатками по самую рукоятку.

Кухню всё же поставили, сготовили обед, а есть никто не может. Даже те, кто и понятия не имел о брезгливости, только поднесут ложку ко рту — и рвота фонтаном. Так как на хорошее надеяться не приходится — с каждым часом становится всё хуже — стали жечь костры из сырых деревьев, чтобы было больше дыма, становиться на колени и нос буквально засовывать в костёр, и в этом дыму проглотить хоть пару ложек из котелка.

Да ещё комары и мошкара не дают жизни, выдали сетки, но это не помогает.



Вечером пробиралась от кухни к мосту следом за старшиной. Я что-то вечером стала плохо видеть, не могу найти места, чтобы поставить ногу и не наступить на труп. Он мне сказал, что рядом с ним лежит большой камень, чтобы я прыгнула на него. Я прыгнула и попала сапогом в какое-то месиво (а это оказался не камень, а голый живот фрица). Меня ужасно рвало. Других сапог у меня нет. Я привязала к сапогам бинт, окунула их в воду, другой конец бинта закрепила за мост, и они полоскались целую неделю. А сама босиком сидела на мосту, ходьбу ограничила до минимума, там же, на мосту и спала, пока не отмылись сапоги.



У меня какое-то странное состояние — не могу ходить, всё вертится перед глазами, несколько раз теряла сознание. Утром мне растянут плащ-палатку, и я целый день лежу, стоит подняться — снова падаю. Вчера в деревне девочка отравилась немецкими конфетами, была в тяжёлом состоянии. Привели меня к ней, я сказала, чтобы срочно промывали желудок, стала делать ей сердечные. Поршень до конца не довела и иглу не успела вынуть — свалилась рядом с девочкой. Они вытащили меня на улицу и стали поливать водой из колодца на меня. Еле-еле привели в сознание, но идти я не могла. Так лёжа руководила спасением девочки. Утром ей и мне стало лучше.



Снова в роте, состояние улучшилось, могу ходить. Об А. ничего не знаю, без вести пропал.



Была на БПК, так что теперь кандидат в члены ВКП(б) с 26 июня 1944 года. Задали два вопроса: 1) причины роспуска Коминтерна? На этот вопрос был хороший ответ Сталина, я его запомнила. А вот второй вопрос — как я смотрю на образование Священного Синода при СНК<sup>34</sup> СССР — пришлось выкручиваться самой.

На БПК мы пошли вдвоём с Охрименко — нашим поваром. Идти надо было двадцать километров по лесу, немцы сделали вдоль дорог широкие просеки: боялись партизан. Вот по этой просеке мы и шли. В лесах ещё много не сдавшихся немцев, и когда смотришь вдоль дороги, то они, как зайцы, перебегают с одной стороны на другую. С какой целью они это делают — неизвестно, и как прореагируют на нас — тоже неизвестно. Приказали взять автоматы и запасные диски.

А автоматы «Томпсон» — американские, ими, по-моему, лучше орудовать как дубинкой. Я пробовала стрелять из него, он с шестидесяти метров фанеру не пробивал. Прибыли мы в бригаду благополучно, никто нас не обстрелял, но чувствовали себя не очень спокойно. После комиссии меня оставили заполнять учётные карточки, был большой приём, и они сами не справлялись. Охрименко ушёл в роту один. А на другой день я одна возвращалась в роту. Скучновато было одной в лесу, и не очень успокаивала перспектива умереть коммунистом, но всё-таки дошла без приключений.

А вот Гриша Охрименко в роту не вернулся — пропал без вести. Принимали на бюро четверых, а получать кандидатскую карточку буду я одна.



Вручили кандидатскую карточку. Вручал майор Плотницкий из политотдела. Поздравил, обнял, пожелал быть настоящим коммунистом. Буду стараться.



Я убедилась, что самой советской из всех советских республик является Белоруссия. Видела Россию, Кавказ, Украину, и только здесь так свирепствовали фашисты, и только здесь вся республика стала партизанской, и только здесь такое количество сожжённых деревень и замученных жителей.

---

<sup>34</sup> Совет Народных комиссаров — соответствует Совету министров, т.е. советское правительство. Нарком (народный комиссар) — министр. Первым председателем СНК был В.И. Ленин, последним — И.В. Сталин, при нём СНК стал Советом министров, И.В. Сталин был первым председателем Совета министров. Эта структура по сути сохранена и по сей день, только Председатель Совета министров называется Премьер-министр.

Идёшь по дороге, слышишь отвратительный запах гнилого картофеля, значит, здесь в бункерах живут люди. Это была деревня Солоное, её сожгли начисто, но большинство жителей чудом спаслись. И вот теперь они роют из земли прошлогодний картофель, делают из него крахмал (он тёмно-коричневого, почти чёрного цвета) и пекут блины. Угощали и меня, больше им нечем, это не Украина. Отказываться было неудобно, и я съела — гадость невозможная.

А на моём родном Дону в сорок втором я возмущалась, что многим было плевать на то, что идёт война, бегали по танцам, висли на военных, а после освобождения узнала, что во время оккупации вели себя точно так же и с немцами.

Моя бывшая подружка Лидка Титова завела себе возлюбленного, Ганса. Добровольно уезжали в Германию. Женская половина нашего класса разделилась — одни добровольно на фронт, другие — в Германию. Нездаром потом появилась песня:

*Лейтенанту-лётчику молодая девушка  
 Со слезами в верности и в любви клалась,  
 Но в годину рённую изменила соколу  
 И за пайку хлебушка немцу продалась.  
 Но вернутся соколы, прилетят, отважные.  
 Чем тогда их, девушки, будете встречать?  
 Торговали чувствами, торговали расками,  
 Невозможно девушек будет оправдать.<sup>35</sup>*



Мы всё ещё в Солоное, нет никакой жизни от мышей. Их здесь миллионы. Фронт стоял восемь месяцев, урожай не собирали, вот и появилось такое количество мышей. В землянке, как на параде, маршируют строем, набиваются в котелки. Их потом вытряхивают в бочку, в которой горят дрова, и они жарятся в огне. Спать совершенно невозможно, ночью они ещё наглее, чем днём.

Вчера мальчишки из этой деревни достали где-то 400 г толовую шашку, запал, шнур и отправились глушить рыбу. Они, наверное, никогда не видели, как горит шнур, и шашка взорвалась у них в руках, их было не-

---

<sup>35</sup> Пелось на мотив известной песни «Спят курганы тёмные».

сколько человек. Господи! Во что она их превратила! Кишки висели на дереве, без рук, без ног, страшно смотреть. На взрыв прибежал капитан, приехавший в отпуск по ранению, и помог мне оказывать им помощь. Наложили жгуты, не хватило бинтов, он разорвал свою рубашку. Сделала им сердечные, морфий. Достали какую-то клячу, уложили их на подводу, и он сам отвёз их в госпиталь. Сколько ещё жертв принесёт эта проклятая война!..



В лесах под маркой партизан действуют иногда и бандиты. Вчера я пришла в деревню за перевязочным материалом и медикаментами. Вера укладывалась спать, хозяйка притащила перину, и она была рада. В это время является здоровенный тип в форме, но без знаков различия, с пистолетом. Веру швырнул на пол, а мне говорит: «А ты пойдёшь со мной!» я ему ответила, что и не подумаю никуда с ним идти, у меня есть своё начальство, и я выполняю их приказы. Я, конечно, очень волновалась, от такого можно ждать всего, чего угодно. Я взяла сумку, накинула на плечи шинель и пошла. Он стал кричать, чтобы я вернулась, иначе будет стрелять. У меня сердце ушло в пятки, но я подумала — пусть лучше застрелит, чем идти с ним. Он вытащил пистолет — Вера и хозяйка онемели от ужаса, но я старалась сделать вид, что мне наплевать на него, и пошла дальше. В это время он выстрелил, я решила, что это конец, но он выстрелил вверх. Он трижды стрелял, но, к счастью всё вверх, а я шла по дороге и каждый раз думала, что уж эта пуля — моя. Догонять он меня не стал.

А мост был совсем недалеко, но если кричать — не услышат, там очень шумно.



Мы пока в резерве. Наши уезжали на Проню, меня оставили с Суворовым. Алексей служит в 31 батальоне командиром роты. Петька Соболев сказал мне, что кто-то наговорил ему обо мне кучу гадостей, и он не может простить (в 31 Юренкова — врач батальона и Тамара — мои «доброжелатели»), они из зависти способны на любую подлость, но как мог Алёша поверить? И что делать мне? Мне же не в чем оправдываться. А может, другая причина — сердцу, говорят, не прикажешь. Или это всё скуки ради? Об этом знает только он. Но почему же честно обо всём не сказать, я бы поняла и ни на минуту не стала бы себя навязывать. Не ждала я от него этого. Ну, что же, как говорили в старину: бог ему судья. А я благодарна судьбе за всё, что было.



Вера мне говорит, что у меня допотопные взгляды, что мне нужно было жить в прошлом веке. Может, она и права. Но перевоспитывать себя не могу, да и «признаюсь, желанья не имею». Я не могу понять, зачем сначала должна быть беременность, а уж потом — в лучшем случае —

оформление отношений. Ну, а если лучшего случая не будет? Тогда что? Да я даже в лучшем случае не представляю, что делать. Умолять оформить отношения, навязывать себя, просить, чтобы тебе оказали милость, сжалились? А может, угрожать командованием, парторганизацией? В любом случае, за редчайшим исключением (а они, как известно, подтверждают правило) это шантаж. И не верю я, что после будет счастье и хорошая семья. И мне лично не нужно ни жалости, ни милости. Всю жизнь висеть на шее у человека только потому, что тебя пожалели? Нет, нет, нет и нет. Мне нужно, чтобы меня глубоко уважали в первую очередь и любили не в последнюю.



Вчера поздно вечером прибежал связной — в роте ЧП. Мы бежали бегом. Прибегаем во двор, где живёт Суворов, и в темноте я увидела, что рядом с дверью под окном лежит человек. Я схватилась за пульс — пульса не было. Тут же стоял капитан и попросил не менять позу лежащему — ждут следователя. Это был старший лейтенант Волков, помкомвзвода Суворова. Убил его Суворов двумя выстрелами в спину — одна пуля попала в голову, вторая под лопатку. На стене избы — мозг. Криминал Волкова состоял в том, что он, окончив вечернюю поверку, отпустив солдат, шёл мимо дома Суворова. Что его дёрнуло подойти и посмотреть в окно, а Суворов в это время находился во дворе, подошёл к Волкову сзади и вlepил ему два выстрела. Объяснил всё это он тем, что якобы Волков имел виды на хозяйку Суворова. Мы все сидели в доме, ждали следователя. Заявился Фирсов, как всегда пьяный, и говорит капитану, чтобы он отобрал пистолет у Суворова, иначе он нас всех перестреляет. Через несколько дней подполковник Безрук вызвал к себе Суворова (тот был арестован), чтобы посмотреть на убийцу, и спрашивает у него: «Что же это ты, Суворов, как Онегин с Ленским из-за Ольги стреляться надумал?» (хозяйку звали Ольга), и Суворов в ответ спросил у него: «А в каком батальоне это было, товарищ подполковник?» Безрук говорит, что хотел ему в морду запустить чернильницу, да рук не стал пачкать. Суворова судил трибунал — дали десять лет, он просил штрафную.



Рядом с нами стоят десантники — 20-я отдельная Свирская Гвардейская авиадесантная бригада. Они готовятся на Берлин, называют себя сталинскими войсками. Зовут к себе. Поваяло духом романтики, но это я в молодости бегала из части в часть, а теперь уж подумать надо.

Долго думать не пришлось, от романтики и следа не осталось. Они хуже, чем банда батьки Махно, только что с громким названием. Вечером

я вела приём, человек двадцать пришло. Хозяйка сидела во дворе, жарила грибы. Вдруг являются четыре десантника, схватили её и поволокли в сарай. Мои солдаты еле отбили, они ушли с угрозами. Дошло до того, их явилась целая рота, все с автоматами. Наш взвод со своими ПТР<sup>36</sup> занял оборону, завязался бой. До смерти никого не убили, но поработать мне пришлось. Я умоляла капитана забрать меня из этого взвода, который стоит вместе с ними.

Только перешла в роту, пошла со своими комсомольцами в батальон на собрание. Возвращались ночью и наткнулись в лесу на десантников, у них учения какие-то были. Они обнаружили нас и погнались за нами. Комсомольцы мои мгновенно испарились, и осталась я одна. Я так бежала, что думала, что у меня разорвётся сердце. Если бы мирное время, чемпионкой стала бы. В землянку скатилась по лестнице. Капитан бросился ко мне, со мной просто истерика началась. Что было бы, если бы они меня догнали? Они ничем не лучше немцев. Капитан кричал: «Сволочи сиволапые, когда же конец этому будет?»

На другой день случайно столкнулась в лесу с их командиром бригады, подполковником. Я его увидела издали — он ехал на «виллисе». Уж как я ни убегала, но он так виртуозно объезжал все сосны, что притормозил прямо передо мной и заявил: «Передайте своим, что сегодня к вам на танцы придут гвардейцы-десантники». Я сказала ему, что на поведение его десантников буду жаловаться Громову, командующему десантными войсками, и пошла к своим. Понятное дело, что танцы были тут же отменены. В соседней деревне до этого их не пустили на танцы, так они ту избу забросали гранатами, пришлось по десанникам открыть огонь из стрелкового оружия. Немного погодя мы узнали, что Громов приезжал в эту бригаду. Бригада за «подвиги» десантников была расформирована, и Громов провёл децимацию — выстроили бригаду, и каждый десятый по счёту был расстрелян.



Я — в санчасти батальона. Обстоятельства сложились так, что мне пришлось уступить место Асе. Она вышла замуж за Белянкина. Я отношусь к ней с большой симпатией, и мне её искренне жаль. Ничего хорошего из этого не будет. Мало того, что он как человек оставляет желать лучшего, так у него ещё на Дальнем Востоке жена сидит. Свадьбу организовали в роте. Капитан явился со своей «дамой сердца». Красивая девица, но жила с немецким комендантом. У меня в голову не укладывается, как

---

<sup>36</sup> ПТР — противотанковое ружьё.

можно подбирать после немцев. Кричали «горько» не только молодым, но и капитану и нам с Верой.<sup>37</sup>



Теперь у меня, кроме Антонины, никого нет. Решила взять себя в руки, занялась витаминотерапией, глотаю горстями. Говорят: верь в камень, и камень спасёт, наверное, по этому принципу на меня подействовали витамины. Я даже перестаралась. На начальницу свою не стала обращать никакого внимания. Она равнодушна к Красильникову, и я назло ей стала с ним танцевать. Он приглашает меня стрелять (трофейных патронов горы), и я иду, не спрашивая у неё. Она очень недобрый человек. Крымская татарка, переживает, что Сталин выслал их всех из Крыма в Среднюю Азию, в том числе её братьев, сестра ушла с немцами. Антонину, золотого человека, называет жидкой. Дусю-санитарочку — гадкой. Причём звучит это так: Антонина — жидка, Дуся — гадка. Она не в ладах с русским языком. Как я квалифицируюсь — мне неизвестно, но ничего хорошего от неё я не жду. Когда я дружила с Алёшей, она говорила обо мне гадости. Я ей сказала, что могу доказать, что это неправда. Она не отказала себе в удовольствии удостовериться в этом. Но зато уж отцепилась от меня и рот больше не раскрывала. Я ей никогда не прощу этого.

Душу я могу открыть только Антонине, но и она свихнулась. Она не то, чтобы равнодушна к Красильникову, она с ним жила и не скрывает этого. И теперь, видя его внимание ко мне, просто агрессивно настраивается по отношению к нему. Вчера он пришёл в санчасть, и она стала кричать на него: уйдите или я Вас оскорблю. Были танцы, она села рядом со мной, обняла меня и не отпускала танцевать. Просто до смешного доходит. Я, чтобы никто никаких надежд на мою благосклонность не возлагал, танцую с тремя: фокстрот с Красильниковым, вальс — с Саниным, танго — со Смирновым. Всем другим она меня отпускает, а Красильникову не отдаёт. Бедная Антонина, меня он ни с какой стороны не интересуется, слишком хорошо я его знаю. Я ей об этом сразу сказала, что он герой не моего романа. Она же на 15 лет старше его, на что она надеется?



Получила письмо от Саши У. Пишет очень мало. После госпиталя снова попал в свою старую часть 18898-У. Мне скорее бы его увидеть, а то боюсь, что совсем забуду.

---

<sup>37</sup> Последнее обстоятельство автор дневника объясняет большим количеством выпитого спиртного, так как о лесбийской любви советские граждане (особенно тогда) и понятия не имели.



Появился ещё один «жених» лейтенант Смирнов из разведки. Прислали на место капитана Егорова. Из санчасти не вылезает, всё ищет причин — то чихнул, то кашлянул.

Примчался Хиневич, его прислал Цветков предупредить меня, что Смирнов в Одессе «женится» и бросил потом эту девчонку. Я поблагодарила капитана Хиневича за внимание к моей персоне, его и Цветкова и успокоила, сказала, что мне это не грозит. Пусть «женится» на ком-нибудь другом. Я такими экспериментами не занимаюсь.



Пришлось мне всё-таки с ним повозиться. Солдаты-минёры очень любили Егорова, а этого возненавидели. Егоров держался с ними очень просто. А Смирнов москвич, очень высокомерный, не знаю, чем он им досадил, но сделали они ему «тёмную». Нас вызвали ночью, он сидит белый как стена, а из грудной клетки во время выдоха фонтанчиками брызжет кровь. Обработала ранки, сделала перевязку, отправили в госпиталь. Раны оказались неглубокими, и он быстро поправился.

А потом его прозевала начальница. Он пришёл в санчасть с температурой 40°, весь пылает. Перед этим моей начальницы не было, заболел Сабир, я его отправила в госпиталь с диагнозом «сыпной тиф», и он подтвердился. Я ей напомнила об этом, ведь они же из одного взвода, но она и слушать не стала, сказала, что это грипп. Когда меня вызвали к нему, он уже сыпью покрывался. Начальница положила его в санчасть с диагнозом «грипп». Её судить нужно было за это. Я две недели возилась с этим «гриппозным», он бредил без конца, срывался с места, бежал куда-то. Здоровый, сильный, куда мне с ним справиться, а надо было держать, и ночью спать почти не приходилось. Вид у меня — как будто бы я тоже тифом переболела.



Наступает 45-й год — год нашей Победы.

Когда-то на Украине майор Цветков заставлял меня писать лозунги. По его приказанию была сколочена лестница, перетащить которую с места на место нужен был целый взвод. На ней я и писала. И вот на весь мост я написала громадными буквами, не помню, чьи слова: «Будет гордостью столетий год Победы — 43-й!»

Но, увы, в сорок третьем до Победы было ещё очень далеко, а вот 45-й — это уже точно будет гордостью столетий, хотя и не в рифму.

Часов в 9 вечера примчался связной из штаба — вызывает подполковник. Я на всякий случай захватила порошки от головной боли, я их готовлю сама, и он признаёт только их. В штабе было много офицеров, и я просто растерялась — с чем это связано? Когда доложила о своём прибытии, все рассмеялись — почаше бы такие приказания! Оказывается, меня

пригласили на встречу Нового года (одну из всех медиков, моя начальница мне этого не простит).

Я не только давно, я вообще никогда не встречала так Новый год. До войны было детство — «В лесу родилась ёлочка». А в первые годы войны было как-то не до торжественных встреч.

Но это оказалось ещё и свадьбой Цветкова и Лиды Сердюковой.

Столы ломились — Аникиенко постарался, уж он-то толк в этом знает. К 12 часам все были внизу в зале. Подполковник поднялся на сцену, держа в руках часы. Ровно в 12 поздравил всех с Новым 1945-м годом! Потом сошёл со сцены и каждого поздравил персонально.

Было очень весело, красивая ёлка, танцы почти до утра, в партнёрах недостатка не было (некоторые с ума сходят — не танцуют). Потом появился Ведин и вручил почти всем письма. Мне два от Саши и фото.



Писать не хочу. Всё более или менее значительное запомню и так. Тарасов сказал, что Алёша уехал в академию. Вот и всё. Зачем мне это было нужно? У меня есть Саша. А может быть, уже нет?



И вот наконец-то — долгожданная Победа! Меня почему-то душат слёзы. День выдался какой-то непрасудничный — серый, холодный, ветреный, сырой. Все готовятся к построению: чистят шинели, дряют сапоги, пуговицы, пришивают подворотнички, проверяют оружие.

Всё как во сне — верится и не верится.

И вот наступил этот час — парадно-торжественным прямоугольником застыл наш 18-й отдельный батальон, чеканят шаг наш знаменосец и ассистенты. Как-то невольно всматриваешься в лица своих товарищей — какие они в этот час нашей Победы?

Я не увидела ни одного лица, которое выражало бы только безмерную, безудержную радость, как было ночью, когда дежурный по части начхим<sup>38</sup> поднял батальон криком: «Победа!!! Война закончилась!!!»

Все как с ума посходили от радости: полуодетые кричали, плакали, стреляли, обнимались, целовались, пускались в пляс.

Теперь эти лица были и торжественные, и радостные, и скорбные одновременно.

Когда подполковник Безрук, читая приказ Верховного главнокомандующего, дошёл до слов: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!» — не было ни одного лица, по которому бы не текли слёзы. Мне казалось, что плакал и сам подполковник. Време-

---

<sup>38</sup> Начхим — начальник химической службы части.

нами слышались всхлипывания и приглушённые рыдания, и никто не стыдился этих слёз.

Это были первые часы мира — так долго жданные и так дорого оплаченные.

Приказ  
Верховного главнокомандующего  
по войскам Красной Армии и Военно-морскому флоту

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась, Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая в День Победы в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-морской флот!

Верховный главнокомандующий,  
маршал Советского Союза



9 мая 1945 года № 369.



10 мая. Всё ещё до конца не можешь осмыслить то, что произошло. Все под впечатлением этого великого события, значительнее которого в нашей жизни ничего не было и не будет.

И вдруг в расположении батальона появился немец метра два ростом, спортивного вида. Мундирчик на нём расползлся по швам, видно с чужого плеча, по-русски он говорил хорошо, попросил поесть. Вызвали особиста — капитана Котова, и тот даже стал проявлять великодушие — приказал накормить немца из офицерской столовой. Немец быстро очистил котелки и стал объяснять, что ему нужно в лагерь, что он заблудился. Дежурный по штабу был Звездин, и Котов ему приказал проводить немца. А до лагеря 20 км. Звездин побежал за автоматом, а Котов говорит, что немец и сам бежать будет, зачем ещё автомат? Но Звездин автомат всё-таки взял, и они пошли. Вечером к штабу подошла машина, взяли меня с санитарной сумкой, и мы поехали в направлении лагеря. Через несколько километров недалеко от дороги увидели двух лежащих человек. Я побежала к ним. Это были Звездин и немец. Немец был мёртв, а Звездин — без сознания. У немца было несколько ран, а у Звездина ран не видно, но всё лицо в ссадинах, в крови и струйка крови изо рта. Вокруг глаз чёрные круги — немец пытался выдавить ему глаза. Я с трудом открыла ему рот — во рту всё было окровавлено, и мне показалось, что он откусил себе язык.

Этот окровавленный предмет оказался большим пальцем немца. В драке он откусил у немца палец, но выплюнуть его уже не смог. Мы погрузили его на машину и повезли в санчасть. Там он пришёл в сознание и рассказал, как всё произошло.

На том месте, где мы подобрали Звездина, они сели передохнуть, там же был указатель. Когда отошли немного от указателя, немец спросил, сколько километров до лагеря. Звездин оглянулся на указатель, и в это время немец сзади прыгнул на него. Он был в два раза и больше, и сильнее Звездина и сделал из последнего отбивную котлету. Автомат несколько раз переходил из рук в руки. Немец не давал Звездину выстрелить. Когда Звездин всё-таки выстрелил, он решил, что убил немца и сам потерял сознание. А потом открыл глаза и видит, что немец ползёт к нему с кинжалом в зубах, и он сам не помнит, как дал очередь и попал ему в голову, снова потерял сознание и уже надолго.

Звездин говорит, что если бы не сознание, что пришла Победа, он бы с немцем ни за что не справился. Две недели пролежал он в санчасти, а потом отправился на 10 суток на гауптвахту за притупление бдительности.



Что-то неважно началось у нас мирное время. 11 мая утром в санчасть пришёл командир техроты капитан Орлов и стал умолять начальницу, чтобы прервали беременность Розе Андреевой. Он не будет с ней жить, у него дома три сына ждут его. Начальница приказала мне собирать ин-

струмент, и мы пошли на квартиру к Орлову. Хозяев он выкурил, дома была только Роза. Керосина не оказалось, не на чем было кипятить инструмент. У начальницы сработала «солдатская смекалка», и она сказала мне, чтобы я обжигала его спиртом. Я начала обжигать, но волновалась очень: это же двойное преступление — и обжигание, и прерывание. Когда пламя начало угасать, догорающие тампоны я отдавала Розе. Я и не заметила, что она их швыряла в форточку, волновалась она не меньше моего. Но всё ещё было впереди. Изба была деревянная и сверху обшита камышом. И вот началась операция. Розе плохо на столе, мне тоже плохо. Я говорю Зинаиде Михайловне,<sup>39</sup> что мне плохо, она отвечает, чтобы я терпела. Я терпела, терпела и, выронив зеркало, свалилась под стол. З.М. суёт под нос нашатырный спирт то Розе, то мне, но никто на него не реагирует. И в это время загорелась на окне марлевая занавеска. Снаружи изба уже пылала. Выскочила З.М. и начала её тушить. Сбежались все, кто мог, и тайна перестала существовать.

Безрук «поблагодарил» начальницу, а я два дня после этого пролежала в каком-то полуобморочном состоянии. Роза очень долго температурила, счастье, что не было сепсиса.



Мы в Брянске. Весь батальон живёт в землянках, восстанавливают станцию Брянск-II. У санчасти отдельная землянка, начальница живёт на квартире. А я хожу ночевать в свою любимую 3-ю роту. В одной землянке штаб роты, капитан, Вера и т.д. нам оборудовали уголок, завесили плащ-палаткой. Спим с Верой на узеньком топчанчике, всю ночь, чтобы не упасть, держимся друг за друга и как по команде поворачиваемся.

Я ежедневно снимаю пробу на батальонной кухне, так как одна из медиков живу в лагере. До рассвета прибегает повар, стукнет в дверь, и я со своего топчанчика пикирую прямо в сапоги, набрасываю шинель и понеслась. Гимнастёрка и юбка остаются лежать на месте. А капитан говорит, что если бы я была его подчинённой, он мне за подъём каждый день объявлял бы благодарность — ни один солдат так быстро не собирается.



Сегодня у меня было шоковое состояние. Явился Красильников с каким-то пожилым человеком, представил меня, познакомились. Оказывается, это его отец, а он всего-навсего решил на мне жениться. Я так растерялась, что лишилась дара речи. Нормальные люди всё-таки так не делают, не худо было бы и моим мнением поинтересоваться, прежде чем вызывать отца. Да и как это вообще можно было додуматься, ведь мы с ним наедине

---

<sup>39</sup> Она была из крымских татар, и звали её Зейнаб Магомедовна.

и одной минуты не были, двух слов не сказали. Танцы и стрельба — так там чуть ли не весь батальон присутствует. Он решил, что как только я услышу его предложение, сразу упаду к нему в объятия. И самый главный козырь, перед чем, по его мнению, я уж никак не могла бы устоять, — это его «богатство». Ведь он был командиром бригадной разведки, и в Кюстрине (под Берлином) они действительно озолотились. Он мне говорит, что так обеспечен, что и внукам нашим хватит. Да вот уж о внуках я меньше всего пекусь, может, у меня их в никогда в жизни и не будет. Я ему сказала, что меня всё это меньше всего интересует, у меня даже какая-то идиосинкразия ко всем этим материальным благам. Мне всю войну казалось, что если я к чему-нибудь прикоснусь, меня сразу убьёт. (Вспоминаю, какие кучи денег таскала я в штаб в медсанбате. Да я их видеть не могла!).

И ещё я сказала, что я из тех, которые шалаш считают раем при том условии, если там будет милый, желанный, любимый человек. А про себя добавила: «а не барахольщик». Я не собираюсь замуж, хоть мне и двадцать лет, но мне ещё учиться нужно, ведь я из девятого класса ушла на фронт.

Быть только женой — да я себя уважать перестану. Вот так обо всём этом я ему и рассказала. Это был первый наш разговор наедине.

Он мне ответил, что я должна подумать и не рубить сплеча. Но кто это делает, по-моему, ясно.



А через несколько дней явился К.Ф. и говорит, что прибыл специально мозги мне прочищать, а если нужно, и ремешком врезать. Оказывается, до него дошёл слух, что я выхожу замуж за Красильникова, а он своего «благословения» не даст. Я его успокоила, сказала, что никуда и ни за кого не выхожу.



Наверное, потому, что наступил мир, люди начали обалдевать.

Прибыл Смирнов Владимир Сергеевич с таким же предложением и такими же соблазнами, как и Виктор Александрович. Он тоже ведь был в разведке. Разница только в том, что Красильников собирается оставаться в кадрах, а этот хочет уйти на гражданку. У него в Москве на 2-й Тверской-Ямской квартира, и в Москве я буду учиться, это он понимает и приветствует.

Не хочу я никуда, даже в Москву.

Постаралась как можно мягче всё объяснить. Ушёл недовольный, обиженный. А обижать я никого не хотела и не хочу, а играть в «любовь» — это не моё амплуа.

Остался ещё третий партнёр по танцам — лейтенант Коля Салин, тоже из разведки, но он ничего не предлагает. У него есть тётка с коровой, и он доволен.



Меня вызвал подполковник — Лида в тяжёлом состоянии, безнадёжном. Если мы обеспечим уход, может быть, появится надежда, он не хочет терять окончательно эту надежду. Лида просила, чтобы была с ней я. Увидев Лиду, я испугалась, но окончательно убила меня рана.

Дело в том, что у Лиды большая беременность, и она затруднила диагностику. Ей поставили непроходимость, а у неё оказался гнойный аппендицит, причём вскрывшийся с разлившимся гноем и перитонитом. Рану не зашивали, края её ужасно утолщены, и такое впечатление, будто бы художник на палитре мешал краски — и чёрную, и зелёную, и серую. Начался некроз. На неё в госпитале уже махнули рукой. Ведущий хирург утром приоткроет дверь в палатку, удивится, что она ещё жива, и идёт дальше. Назначений никаких нет, может, они и есть, но мне они не известны. Рану присыпают йодоформом. Это преступление — просто созерцать, как погибает человек, поведение ведущего хирурга возмущает.

Я решила действовать сама. Поехала в свою санчасть (в моём распоряжении машина и мотоцикл), заказала глюкозу 5 и 40%, физраствор, перекись водорода. Приготовила смесь из сульфидина и стрептоцида. Промыла рану перекисью несколько раз, засыпала сульфидином и стрептоцидом. Ввела подкожно литр физраствора и внутривенно 40% глюкозу. Хирург говорит, что она обречена, и это просто для успокоения совести. После этих процедур рана стала гораздо лучше. Достали американский пенициллин, колю через каждые 3 часа, держу на льду, всё строго по инструкции, обработка эфиром. Приходил хирург, просил отдать пенициллин другому человеку, тому, может быть, поможет, а ей бесполезно. Даже повёл меня посмотреть на этого человека. Я ему сказала, что очень сочувствую тому человеку, которому он мог бы помочь, но, тем не менее, ни одной единицы не отдам. Доставали с невероятным трудом из Москвы, подполковник самолёт специальный выпросил у начальства. Бороться нужно до конца.

...Труды мои, кажется, не пропадают даром, да и пенициллин сотворил чудо — Лиде стало лучше. Присылали Машеньку, нового фельдшера из нашей санчасти, чтобы как-то облегчить моё положение, я ведь и ночью не сплю, боюсь пропустить время инъекции, и уже еле держусь на ногах. Но Лида отправила Машу назад. Приехала Антонина и отправила меня на сутки выспаться.

Когда я вернулась, внезапно начались роды. Что делать в таких случаях, я не имею понятия, ведь ещё и рана не зашита. Вызвала хирурга, обмотали её лейкопластырем очень широким, несколькими катушками. И появился на свет крохотный семимесячный ребёнок — мальчик.

Забот у меня прибавилось, нужно было и ребёнка выхаживать. Бежала в роддом (благо, рядом, обходилась без транспорта), брала грудное молоко и искусственно через носик кормила Володю (так называли). А у Лиды начался мастит.



Целый месяц пробыла с ней в госпитале. Рана начала быстро заживать, но хирург сказал, что там гнойный карман. Выписали нас домой. Лида ещё лежащая, и ребёнок очень слаб, и, кроме того, у него начались судорожные припадки. Его нужно держать в тепле, пробовала забираться с ним на русскую печь, но припадки учащались. Обложила грелками, кормлю искусственно. Дел по горло, а я ничего не умею, опыт на нуле. Так натопила печь (обнаружила на чердаке целый склад сухих берёзовых поленьев), что чуть дом не сожгла. Первый раз в жизни делала голубцы (начинка из американских консервов), пекла оладьи, борщ варила. Степан Филиппович хвалил.



Прожил Володя двадцать один день. Сказалась тяжелейшая интоксикация, лёд, лежавший на нём две недели, недоношенность.

Степан Филиппович поцеловал его и сказал: «Прощай, сынок, жди нас». Я не поехала на кладбище, осталась с Лидой. Да ещё и обед надо было сделать. Пришли Цветков, Рыжков, Зырянов и др.



Стараюсь как-то отвлечь Лиду. Под её руководством стала шить ей платье, первый раз в жизни, думаю, что и последний. Терпения у меня не хватает. Люблю вышивать. Получилось сверх всякого ожидания очень симпатичное комбинированное платье. Лида в нём как-то преобразилась сразу, но потом разрыдалась, еле я её успокоила.



Лида поправилась, я вернулась к своим обязанностям в санчасть. Степана Филипповича вызывает начальство, и он попросил, чтобы я переночевала с ней. Улеглись мы с ней на одной кровати, устали, целый день провозились, занимались благоустройством. Из ящиков соорудили подобие дивана, я вышила корзинку с вишнями на подушку. Утром была на рынке, купила покрывало на «диван». Занавески пристроили...

Только уснули, и я почувствовала, что в чём-то плаваю. Встала, включила свет и ужаснулась — под нами целая лужа гноя. Вскрылся этот самый карман. Побежала к дежурному по части, взяла машину и поехала к хирургу. Он приехал, посмотрел и забрал её в госпиталь. Самочувствие неплохое, и меня с ней не оставили.



Я занимаюсь аптекой, и мне приходится каждый месяц ездить в Киев в санитарный отдел округа за медикаментами. Поездки хуже, чем в войну, в вагон не пускают. Солдаты на крыше, а я на подножке. Ехать ночь. Сцеплю руки на поручнях, начинаю дремать и боюсь свалиться, кажется,

что внизу пропасть. Первый раз поехала с Сашей Логвиненко. говорят, что она неподчиняемая, но со мной вела себя безукоризненно.

Киев покорила своей красотой. Он мало пострадал. Сметён с лица земли Крещатик. Теперь там ползают пленные немцы, разбирают кирпич. Целый день мы искали улицу Сурикова, санитарный отдел округа и не могли найти. Уселись на таре, готовились так провести ночь, но над нами сжалился дед, ехавший мимо на телеге. Погрузил наши ящики и бутылки и повёз к себе домой. Соседи пришли на нас посмотреть как на диковину. Разговорились, оказывается, мы и сидим на улице Сурикова. Она называлась Немецко-Бухтеевская, её только переименовали, и мало кто знает. Утром отправились в санитарный отдел округа, в ожидании приёма полдня сидела на окне и любовалась потрясающим видом Днепра.

Медикаментов не дали, назначили другой срок. Побродили по городу, поклонились могиле Ватутина, братским могилам, побывали в Лавре, посмотрели на монахинь. Там была торжественная встреча какого-то зарубежного религиозного деятеля. Интересно было посмотреть, но всё казалось каким-то нереальным, киношным. После того, как прокатилась такая война, всерьёз этим заниматься, по-моему, нельзя.

Уже осмотрели весь Киев, а уехать никак не можем, на подножке холодно, мы в одних гимнастёрках. Нам пытались помочь ребята — выпускники пограничного училища. Выбрали вагон, у которого никого не было, и двери были закрыты, но зато открыты окна. Первой посадили меня, и я свалилась в купе на колени какому-то товарищу. Он был в гражданском, галстук-бабочка, огромные очки. Глаза у него чуть не выскочили из орбит. На пороге появился лейтенант с грозным видом:

– Сержант, как Вы сюда попали? — я ему сказала, что через окно.

– Потрудитесь выйти в дверь! — и уже, когда я выходила из вагона, сказал, что это премьер-министр Польши Осубка-Моравский едет в Москву. Вагон международный, мы недосмотрели, а пограничники от нечего делать, видно, решили позабавиться.

Вот так неожиданно пришлось мне побывать на коленях у премьер-министра Польши.

...Снова пришлось трястись от холода и страха на подножке.



Снова в Киеве, на этот раз с Кандановой,<sup>40</sup> она приехала предъявить претензии в санотдел округа, но её и слушать не стали. Потатила я её послушать оркестр. В первый ряд прошёл Хрущёв с сопровождающими лицами. Объявили: «Друга рапсодия Лыста».<sup>41</sup> Я приготовилась слушать, мне

<sup>40</sup> Та самая Зейнаб Магомедовна.

<sup>41</sup> По-украински так звучит «вторая рапсодия Лыста».

очень нравится эта вещь, но через две минуты начальница сказала: «Пошли отсюда, зачем нам этот похоронный марш». А так хотелось послушать... Ведь это же первый концерт в мирное время, но начальство рассудило иначе.



Я снова собралась в Киев, была на вокзале, но вдруг появились автоматчики и так ловко очистили вокзал — глазом моргнуть не успела, как ни одного человека на нём не осталось. Меня почему-то не тронули. Через несколько минут подходит бронепоезд какой-то странный, часть вагонов не бронированные, но необычные.

У машиниста сидит офицер с автоматом и телефонным аппаратом. Поезд мгновенно оцепили автоматчики. Из поезда вышли несколько полковников и стали у вагонов. Паровоз моментально набрал воду, и поезд покатил дальше. Позже узнала, что в этом загадочном поезде ехал в Потсдам Сталин.



Нам дали три тысячи пленных немцев, мадьяр, румын. Будут работать над восстановлением станции Брянск-II. Не могу я на них смотреть, а оказывать помощь — тем более. Даю бинты — пусть перевязываются сами. К нам в санчасть часто заходит переводчик лейтенант Алексей Фесенко. Предложил мне заниматься немецким. Мне просто стыдно, я почти ничего не помню. Так хочется скорее взять в руки книги и не выпускать их из рук.<sup>42</sup> Вспоминается школа, если что-то и осталось в голове, так это химия. Но такие преподаватели, какой была Мария Павловна,<sup>43</sup> — это большая редкость, учитель милостью божьей. Она в молодости была дружна с семьёй Менделеева. Большинство преподавателей по сравнению с ней выглядели ремесленниками. Хотя я любила и физика Александра Васильевича Беякова, он был на фронте всю войну, историка Ивана Ивановича Иванова, он ушёл на второй день политруком. А классный руководитель Нина Абрамовна Горбатовская, когда узнала, что мы ушли добровольцами, сказала, что это будет нам хорошей школой жизни. Не дай бог проходить та-

---

<sup>42</sup> Занятия немецким закончились тем, что этот учитель предложил мне руку и сердце, спросив предварительно разрешение на то, чтобы поцеловать меня. Я ему сказала, что не хочу морочить ему голову, замуж я не собираюсь, мне нужно получить хоть какую-то специальность. Он был согласен на всё, пусть я дома буду получать специальность, он будет высылать аттестат, но предварительно оформим отношения. Но сердцу не прикажешь. В него была влюблена Аня Мягкова, она приходила ко мне, и я ей сказала, что никаких видов на него не имею. Я рассказала Лиде, а Степан Филиппович говорит – выходи замуж, он украинец. Лучшего мужа не найдёшь. Я ему сказала, что для меня национальность никакой роли не играет, ну не люблю я его, как же можно себя заставлять. А Люба Авраменко вышла замуж за его друга, были мы на свадьбе, пропили Любу, а вот отношений они не оформили. Уехала она домой беременная.

<sup>43</sup> М.П.Вологодина-Кашинская, её муж – профессор НПИ – был известным химиком, есть даже реакция его имени в качественном анализе: «реакция Петрашень».

кую «школу», как война. Для неё самой она обернулась гибелью в ГЕСТАПО. А «козёл» — наш учитель пения — пошёл служить фашистам и сбежал с ними. Война распределила не только учащихся, но и учителей.

Как бы там ни было, начинать придётся всё заново.



Пришёл приказ на демобилизацию. Это уже вторая очередь, но меня в приказе нет. Медиков не хватает, меня уговаривают остаться. Мнения у всех разные. Одни говорят, что остаться хотя бы для того, чтобы пережить это тяжёлое время, на гражданке старшина кормить не будет. Цветков говорит, что жизнь тем и интересна, что в ней трудности. Если всё будет гладко без борьбы — жизнь будет неинтересна. А я вот как-то не удосужилась задуматься над этим, казалось, кончилась война — и всем трудностям пришёл конец. Саша пишет, чтобы я ехала к его родителям, но статус у меня не тот, чтобы к ним являться. Нужно всерьёз подумать об учёбе. Мне уже двадцать первый год. Четыре года и три месяца — самое лучшее время в жизни человека забрала война. Пришлось ехать в Шостку в политотдел, убеждать. Начальник политотдела долго беседовал со мной, но вначале, когда я назвала свою фамилию, почему-то усомнился, что я именно Карпова. Смотрел в какие-то бумаги. По дороге назад я вспомнила, что Безрук говорил, что когда доложили в политотдел результаты последнего осмотра, и он услышал, что всё-таки остались четыре девчонки и будут демобилизоваться, он сказал, что не пожалеет времени — приедет специально посмотреть, что это за крокодилы, на которых никто не польстился. Нельзя было подводить подполковника, а то бы нужно было доложить, что я одна из «крокодилов», пусть любитесь. Остальные три «крокодила» — Вера Гавриленко, Надя Воропаева и Аня Мягкова — очень хорошие девочки, пусть бы приехал, посмотрел.

Проводы нам устроили грандиозные. Заставили меня выпить самогонки. А у меня на алкоголь парадоксальная реакция — я начала реветь. Обошла чуть ли не всех, подходила сзади и редела, уткнувшись носом в гимнастёрку. Начальство выясняло, кто меня обидел. Никто меня не обидел. Мне трижды приходилось уходить из дому на фронт — в 41-м, в 42-м и в 43-м, но я не проронила ни слезинки. В сорок первом вообще была в диком восторге, да и в сорок третьем. А вот теперь никакой радости оттого, что возвращаешься домой.

Жаль, страшно жаль расставаться с батальоном. Он стал частью моей жизни.

А, кроме того, это ведь и прощанье с юностью.

Радужных надежд на будущее у меня вдруг не стало.

Свои записи я закончила в октябре 1945 года, прослужив в Красной-Советской Армии 4 года 3 м-ца 15 дней. С 1946 года по март 1948 года в/госпиталь 377 в Новочеркасске старшей медсестрой нервного и детского отделений. Начальниками отделений были к-н Беляев Анатолий Алексеевич и ст.л-нт Знамеровская Виктория Владимировна. В мае 47 г. меня прооперировали — удалили гланды (D-s: криптогенный хронический сепсис), в октябре 47 года снова была стационарирована с диагнозом: мелкоочаговый диссеминированный туберкулёз лёгких в стадии субкомпенсации. Жизнь на гражданке была очень тяжёлой — 500 гр. хлеба, вот и весь суточный рацион. В госпитале мне дали индивидуальный санаторный стол. Состояние улучшилось, и 5 января 1948 г. я выписалась из госпиталя, а 10 января 1948 г. вышла замуж за Бурцева Алексея Павловича. В феврале уехала по месту службы мужа. Так началась моя жизнь жены офицера. Жили в Баку (Баладжары, пос. Кагановича), на Украине в Белой Церкви и Новомосковске Днепропетровской области. Одновременно заочно учились: сначала в учительском, потом в педагогическом институте. В 1956 году мы демобилизовались.

Всё.